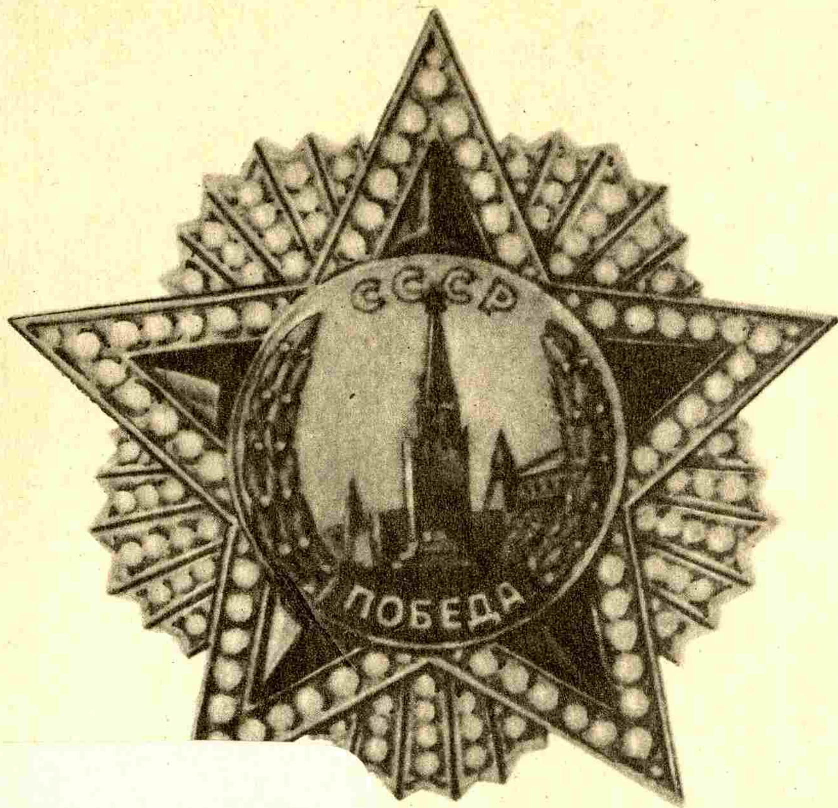
АНГАРА

3

1970

МАЙ
ИЮНЬ



опы,
ы.
..

Не затем убитые убиты,
Чтобы мы забыли о войне.
Четверть века. Помнит поименно
Всех солдат российская земля.
Давний май. Фашистские знамена
Брошены к подножию Кремля.

АНГАРА

3 | 70

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ГОД ИЗДАНИЯ 40-Й

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, № 36, Дом писателей. Телефон 4-56-76.

Восточно-Сибирское книжное издательство

ЮНИЙ ГОЛЬДМАН

ПРОФЕССИЯ

А теперь —
О профессии нашей военной,
самой обыкновенной,
и для штатских иных
удивительно серой —
о судьбе офицера.
Я бы тоже хотел
быть веселым студентом
и на лекциях мудрого слушать
профессора.
Но со школьной скамьи
мы в шинели одеты,
с восемнадцати лет
мы имеем профессию,
ту,
которой слагают чеканные оды,
и не числясь в полках,
боевые поэты,
ту,
с которой семью забываешь и отдых,
в дальний лагерь уехав
на целое лето.
Не строгаем. Не пилим.
Не сеем. Не пашем.
Это, скажете, что же —
безделье такое?
Нам профессию выбрала
Родина наша —
часовыми
на страже труда и покоя.
Небо нынче такое
над страной голубое!
Ощутимое —
Ну-ка, дотронься рукою!

Отыщи для него драгоценное слово,
из словесных выбери щедрот...

* * *

...Мы давно не по годам суровы.
Хоть над нами мирный небосвод —
не хочу,
чтоб повторился снова
сорок первый,
сорок страшный,
год.
Я не дам,
чтоб ни Восток, ни Запад
на мою судьбу, мою страну
вдруг обрушил,
как тогда,
внезапно
новую кровавую войну.
Мы стоим
на трудной вахте мира
и храним в обоймах до поры
то,
что называют командиры
фразой
«наступательный прорыв...»
Обстановку оценив и взвесив,
мы избрали
недругам назло,
из земных,
нужнейших нам профессий,
воина
святое
ремесло!..

Журналист Лев Перминов в годы Великой Отечественной войны командовал взводом и ротой в одной из прославленных гвардейских частей. За участие в боях награжден тремя орденами и шестью медалями. Танковый корпус, где он служил, первым среди танковых соединений был удостоен звания Гвардейского.

Первой гвардейской называлась и мотострелковая бригада, где начался боевой путь нашего земляка.

Мы публикуем воспоминания Л. Перминова о героях — товарищах и командирах.

Л. ПЕРМИНОВ

ПАРТОРГ

К сумеркам стало ясно: вражеское наступление захлебнулось.

Подвела немцев и погода. Ни один самолет не летал над плацдармом. Нудный осенний дождичек надежно закрыл землю с воздуха, на окопы не сыпались бомбы, но солдатам было от этого не легче. Окопы размокли: нельзя было пройти, не держа голенища сапог.

Лейтенант, командовавший на этом рубеже остатками батальона, насчитал всего одиннадцать солдат.

— Не жирно, — коротко бросил он. — Но жить можно.

Целый день стояли они на этом рубеже без связи, орудий, противотанковых гранат. Приходилось беречь даже патроны.

Правда, несколько десятков наших танков в засаде на правом фланге надежно прикрыли позиции. Они-то и помогли отстоять его рубеж. Но в критическую минуту не дрогнули и остатки батальона.

Между позицией группы лейтенанта и «КП» батальона днем нельзя было думать проскочить кому бы то ни было. Стоявший рядом тяжелый минометный батальон после немецкой артподготовки поспешно отошел за реку. Перед рассветом здесь был еще второй эшелон обороны, утром он стал передовым. Минометчики забыли телефонный аппарат с двумя катушками кабеля. Их только что нашел ординарец и принес в окоп лейтенанту.

— Вот это молодец! — похвалил офицер.

— Жидков, — позвал он солдата. — Ты во взводе связи служил?

— Ага, — отозвался солдат.

— Давай бери катушку и жми на «КП» батальона. Пойдет с тобой Сапрыкин.

Смеркалось. Огонь стихал, но нет-нет да и рвались шальные снаряды и мины.

Тяжко было солдатам покидать окоп, где оставались товарищи. Жидков долго рассматривал катушку, крутил ручку, зачищал конец. Лейтенант не торопил. Он-то уж знал, как сроднились люди в этом грязном окопе.

— Закурить не найдется, лейтенант? — спросил Жидков.

— У кого есть курево? — лейтенант огляделся.

Солдаты выворачивали карманы, по крохам собирая на закрутку. Продукты, табак — все должны были подвезти утром, но не подвезли.

Солдаты покурили. Жидков набросил катушку на спину и полез на бруствер.

— Ну-ка, кто там ближе к краю, сходи к пулеметчикам, пусть постреляют, да не очень-то. Прикрыть надо солдат.

Вскоре раздались короткие пулеметные очереди, к ним присоединились и карабины.

Минут через сорок лейтенант подцепил провод к телефону и от нечего делать крутнул ручку. В телефоне в ответ затрещал вызов.

— Алло, — схватил лейтенант трубку. — Кто это?

Отвечает начальник штаба минбата.

— Опрышко? Ты еще живой, триста богов! Что у тебя там есть? Артиллеристы? Бери координаты. Я у рва, помнишь его? Там по другому его краю сплошь ячейки немцев. Лупи, сколько можешь.

Дружно открыли огонь минометы, за ними загрохотали и пушки.

— Ну, теперь кому война, а нам мать родна, — бросил лейтенант трубку, высунулся из окопа и стал наблюдать.

— Сапожков, запоминай ориентиры. Подбитый танк видишь? Вот от него и танцуй. Он на высоте . Сейчас я буду корректировать по телефону. Он снова взялся за трубку, вызвал еще раз начштаба и весело заказал.

— Пару снарядов, левее высоты 127!

По интенсивности огня чувствовалось— там на батареях боеприпасов не жалеют.

Стемнело. Густые облака покрыли землю от горизонта до горизонта· Вернулись связисты.

— Ты, что — бегом бежал? — спросил лейтенант Жидкова.

— Где бежал, где лежал. Но ведь «КП» сменилось.

— Хорошо поработал. Будем живы — к награде представлю. Но раз знаешь дорогу, еще раз придется идти. Пройди с санинструктором по окопам, отправьте раненых.

Огонь стихал с той и с другой стороны. Только пулеметчики пускали короткие очереди по фронту, да изредка огрызались в темноту минометы.

Затрещал телефон· Звонили из штаба батальона, спрашивали, что надо.

— Что надо,— сердито говорил лейтенант. — Ни жратвы, ни курева, не знаете, что ли? Помначштаба обещал послать.

Лейтенанта раздражало то, что вот уже сутки стоит он на этом рубеже и из штаба никто не пришел. А сам хорошо понимал — зачем зря рисковать прогулками под огнем: связь есть, минометы и пушки, по существу, под его командой. И все же...

Не совет ему нужен. Но из офицеров двух рот уцелел он один и не грех было бы просто попроведать людей.

Не приходили — значит надеялись и доверяли рубеж, чего ж еще надо?

— Прошу не беспокоить, — сообщил в штаб лейтенант· — Я сейчас отдыхать располагаюсь, поняли? Немцы больше не пойдут, я думаю.

Лейтенант положил трубку и вылез из своего окопа, ставшего уже небольшим блиндажом. Солдаты насобирали где-то досок, искореженных бревен и накрыли окопчик. Лейтенант подался было в сторону солдатской уборной, но не смог определить в кромешной темноте направления. Пуще всего лейтенант боялся схватить пулю или осколок в такие минуты.

Возвращаясь к своему «КП», лейтенант заметил какую-то нескладную фигуру.

— Кто это? — негромко спросил он.

— Я, свои.

Лейтенант не сразу узнал парторга. Шинель у пришедшего разбухла от дождя, и походил он, маленький и нескладный, на разлохмаченного щенка.

— Заходи, заходи, гостем будешь, — лейтенант не скрывал радости·

Зашли в блиндаж. Парторг поздоровался, расстегнул шинель осмотрелся.

Солдатская плошка слабо освещала лица измученных, уставших людей.

— Ты как нашел нас в такой темноте? — спросил лейтенант.

— А я днем еще посмотрел, куда связист направлялся, вот и запомнил.

— Ну и хватка у тебя. А я ведь вот без компаса и карты блужу в темноте на двух метрах. К пулеметам меня ординарец водит. Сколько не тренировался — ничего не помогает.

Парторг пустил по кругу свой кисет и рассказал, что он в лесу, если где оставит что-нибудь, без дорог найдет. Стали вспоминать, кто где и как блудил, и забыли о войне. Проснулись дремавшие и проговорили до той поры, что вроде бы и посветлело.

— Давай кочуй, брат, — заторопил гостя лейтенант. — Сейчас тут снова веселье пойдет. Провожатого дать?

Парторг отказался. Лейтенант не возражал...

...Кто и чем сможет теперь измерить и в каких единицах, что значил для нас приход этого ночного гостя?

МАЯКОВСКИЙ В ОКОПЕ

— В кино, действительно, много врут. Но, может быть, режиссеры и не виноваты. Судите сами. Если вам показать как на мерзлой земле рвется обычная граната, так ведь вы не поверите. Дзинь! И ни клубов пыли, ни черной земли не летит. Так, на метре снег раздует — и все. А в кино? Бросит герой гранату — земля шатается, и гриб, подобный атомному, вырастает, то ли дело!

Говорили в электричке. Каждый день в шесть вечера я еду из Иркутска в Ангарск. На этой электричке у меня постоянные соседи — два врача, две студентки.

Недавно мы проводили одного из попутчиков — он перевелся на север. Несколько дней его место пустовало, и мы пригласили занять вакансию одного из постоянных пассажиров нашего вагона, в тайне рассчитывая заменить уехавшего на север спутника — отличного преферансиста. Наш новый сосед работал в филармонии. И, действительно, охотно играл в преферанс.

Было несколько удивительно, что так безапелляционно он судит о «киновойне». Не похож он был на фронтовика. Только мы ошибались. Наш новый знакомый, с фамилией какой-то домашней — Глебушкин — был в войну взводным командиром, полтора года воевал, награжден не раз и списан был по тяжелому ранению.

— Вот сейчас критики ловкую теорийку придумали, — продолжал разговор новый попутчик. — Напишет человек о чем-либо виденном, пережитом. А у критика не укладывается это в его прокрустову схему. «Так не могло быть», — заявляет такой знаток жизни. «Да, нет», — говорят ему, — в жизни так действительно бывало. Факт не придуман. «Ну и что ж,— заявляет критик, — правда жизни — это еще не правда искусства».

Ну так вот, начал я говорить о правде в кино. Что бы вы сказали режиссеру, увидев в его фильме такой кадр: идет бой, немцы только что атаковали, но залегли. Часто рвутся снаряды, мины, вспыхивают трассы пулеметных очередей. Окоп. Сверху он накрыт засыпанными землей досками. Не блиндаж, но все же и не открытый окоп. Кругом убитые и наши, и немцы. Вот-вот может последовать очередная атака — а в окопе звучат стихи. Маяковский.

Было это на Наревском плацдарме.

Осенью сорок четвертого немцы пред-

Ю. ШУМАЙЛОВ

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

В октябре 1942 года на один из Ленинградских участков фронта выехала делегация трудящихся Иркутской области с подарками для земляков, воинов 114 сибирской стрелковой дивизии. В числе делегатов находился начальник политотдела Нижнеудинского отделения Восточно-Сибирской железной дороги Бернард Григорьевич Векслер (руководитель делегации), иркутский писатель — ныне лауреат Государственной премии Константин Федорович Седых, мастер завода имени Куйбышева Александр Курносов.

Трудящиеся области посылали на фронт танковую колонну «Иркутский комсомолец», валенки, полушубки, махорку, пельмени, индивидуальные посылки.

Посланцам из Иркутска много приходилось выступать перед бойцами в окопах, блиндажах и рассказывать им о том, как трудятся земляки на заводах и в колхозах.

Однажды в одном из ноябрьских выпусков дивизионной газеты «Разгромить врага» появилось стихотворение К. Седых «Парень из Иркутска». Стихот-

приняли здесь бешеное наступление, чтобы сбросить наши войска с плацдарма.

Какое ему значение немцы придавали, вы поймете, если я скажу, что на плацдарме нас впервые атаковали группой «королевские тигры» — танки, крупнейшие по броне и вооружению. Три из подбитых «тигра» с плацдарма отправились потом на выставку трофейного вооружения в Москву.

Мы стояли во втором оборонительном эшелоне, но через час после немецкой артподготовки он стал передовой. Немцы взломали всю оборону, отбросили наши войска на несколько километров. Перед нашим участком они остановились, так как ими же вырытый в свое время противотанковый ров преградил дорогу. Сколько ни свистел офицер, поднимая солдат в атаку, они не пошли в ров. Позиция была явно для них не подходящей — попробуйте атаковать через ров. В общем, атака захлебнулась. А мы и стрелять не могли. По бровке рва курсировали бронетранспортеры, а у нас не было не то что орудий, а даже противотанковых гранат. Где-то в средине дня немцы попробовали танковой колонной обойти наш ров, но попали под огонь стоявших в засаде танков, потеряли часть машин и залегли уже окончательно. Я вам так подробно описываю обстановку, чтобы вы смогли представить атмосферу боя, а не позиционной войны.

Был я тогда старшим сержантом — помощником командира взвода. После артподготовки и нескольких немецких атак оставалось нас от трех рот человек около сорока и один офицер — командир роты. Когда провалилась немецкая танковая атака, пошел я к лейтенанту — пронюхать атмосферу. Окопчик его находился метрах в двадцати сзади нашей траншеи. Захожу, смотрю — сидят связисты, несколько легко раненных солдат, а у угла окопчика лежит лейтенант, шинель под головой, ремень с пистолетом сбоку положены и без сапог.

«Неплохо устроился», — подумал я тогда про себя. Я только позже догадался, что всем своим видом лейтенант умышленно подчеркивал уверенность в своей позиции. Не стал меня расспрашивать, бросил только: «Ну, как там у вас, нормально?».

— Нормально, — говорю.

— Ну и порядок в танковых частях, — усмехнулся лейтенант.

Посидели, покурили, пора мне уходить, да уходить не хочется. Хоть и не накат

ворение было написано под впечатлением случая, рассказанного писателю командирами и бойцами.

Над белой гладью мерзлого болота
Дымок тяжелый медленно плывет.
У амбразуры вражеского дзота,
Закрыв собой немецкий пулемет,
Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой
Иркутский парень Пронька Подкорытов,
С залитой кровью русой головой.
Стоят бойцы над Пронькой скорбным кругом,
И каждый молча думает о нем:
— Вчера он был простым и скромным другом,
Сегодня стал великим земляком.
Не по приказу кинулся он к дзоту,
А по веленью совести своей,
Как подобает в битве патриоту,
Он первым пал, но спас своих друзей.
Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной накрыв,

над головой, а легкая мина не прошибет. Удивительно спокойней себя чувствуешь на войне, если над тобой что-то есть, ну хоть те же доски. В открытом окопе сидишь, летит мина — кажется, обязательно тебе в спину хлопнет. А укрылся дощечками да землицей прибросил сверху — уже не гнешься, если мину услышишь.

Сижу я в блиндаже, задумался о чем-то, солдаты вокруг замолкли, немец не стреляет, ну гробовая тишина наступила. Нехорошая это тишина. Люди мы живые — и заскребли кошки на сердце. Кому-то на тот свет отправляться, кому-то калекой быть. На войне ведь это просто, но размышлять об этом пока жив-здоров не надо. Вредно. Солдат, который думает, что его убьют, непременно погибнет. Могут убить — так думать можно.

И вот в такой тишине слышим — лейтенант стихи читает, но какие?

Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Германия, Италия, Австрия!

Маяковский — антивоенные стихи!

Бронзовые генералы на граненом цоколе
Молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи
цокали,
И пехоте хотелось к убийце—победе.

Не любил я Маяковского. Но в жизни подобного не слышал. То ли обстановка, то ли нервы, натянутые до предела, или же читал лейтенант редкостно — не знаю, но, повторяю, никогда ни до, ни после не слышал я подобного чтения.

В каждое слово, звеневшее как боевая труба, лейтенант вкладывал особый смысл: «Гер-р-мания», — произнес он с легким раскатом, и чувствовалась вся сила его спокойной ненависти. «Италия» — уже не то, какое-то сочувственное презрение. «Прощающейся конницы поцелуи цокали», — восхищался лейтенант. «И пехоте хотелось к убийце — победе!» Заранее лейтенант сожалел о побежденных, хоть они еще стреляли в нас, в него.

Лейтенант замолчал и опять стала тишина, но не та. Слышно было наше возбужденное дыхание.

— Товарищ лейтенант, — раздался чей-то взволнованный голос, — почитайте еще!

Я сам в молодости читал стихи со сцены, слышал аплодисменты. Но до сих пор завидую от всего сердца лейтенанту, которого попросили: «Почитайте еще!»

Лейтенант прочел нам в тот день и «Флейту-позвоночник», и «Облако в штанах», и «Скрипку» — казалось, все самое трудное у Маяковского... И я уверен —

В могиле братской Проньку похоронят,
Но подвиг богатырский будет жив.
В святом бою с военщиной немецкой
Земляк наш пал в пороховом дыму.
В Иркутске жил он на Второй Советской
И там поставят памятник ему.

Минула четверть века. Как-то просматривая вырезки с газетными статьями из альбома дивизионной газеты «Разгромить врага», любезно предоставленном мне Б. Г. Веклером (ныне работает в управлении ВСЖД) я и увидел это стихотворение.

Мне захотелось разыскать родственников Подкорытова, чтобы от них более подробно узнать о жизни героя-солдата. Я обошел всю Вторую Советскую улицу, расспрашивая ее старожилов, но никто из них не запомнил людей с такой фамилией. Не зарегистрирована эта фамилия в довоенных и нынешних списках в домоуправлениях. На Второй Советской Подкорытовы вообще никогда не проживали.

А через несколько дней от знакомых журналистов я узнал, что одну из улиц в Иркутске пытались даже назвать именем погибшего солдата, но не могли найти его родственников. Тогда я поехал к Константину Федоровичу Седых и полюбопытствовал, существовал ли в действительности Пронька Подкорытов.

Оказалось, нет. Писатель сказал:

— Это собирательный образ. Но такой человек, вообще, был, — и он передал

все поняли поэта от слова до слова. А сам я, кстати, с тех пор не расстаюсь с однотомником Маяковского.

Мы слушали нашего попутчика не перебивая. Не был он хорошим рассказчиком. Только, когда он вспоминал строки, услышанные в окопе, его глуховатый голос преображался, глаза сверкали, и чудился живой Маяковский, живой лейтенант перед нами.

— Ну, вот, а теперь представьте все это в художественном фильме.

Я б, наверное, сам не поверил, если б не был тогда в окопе.

Может, этот критик и прав?

Песня

— Правое плечо вперед — марш! — в который раз уже командовал старшина. Рота шла с обеда. Солдаты-новобранцы, в основном вчерашние десятиклассники, не могли, а вернее, не хотели петь, и старшина водил и водил строй по плацу.

— Песню, — прохрипел старшина.

«Путь далек...» — высоким тенором начал запевала. И тут же остановился — слишком высоко. Кое-как добрался до припева.

— В путь, — рявкнула рота...

— На карачках, — в ритме бросил кто-то в строю.

Все захохотали. Песня захлебнулась.

— Рота-а-а... строй!

Старшина рассердился уже не на шутку. Конфликт перерос дозволенные пределы.

Он мучительно раздумывал, что же еще предпринять. Как заставить солдат петь?

Рота остановилась около казармы. В дверях показался комбат. Он давно уже следил за всем происходящим из окна, видел тяжкое положение старшины.

— Рота, смирно! Товарищ майор, — подскочил старшина к комбату.

— Вольно, — майор подошел к строю.

— Ну что, не поется? Бывает, бывает. Можно курить. Отбомбились, как говорят, солидно, жара, разве охота вокалом заниматься? Верно?

— Верно, верно, — раздались откровенные голоса.

— А вам-то еще, что не петь. А вот нас старшина в войну в пятидесятиградусные морозы заставлял петь в училище.

Не улыбайтесь, в сорок втором в Сретенске — есть такой чудный городок в Забай-

---

мне письмо бывшего командира 114 сибирской Свирской Краснознаменной стрелковой дивизии генерал-майора в отставке Михаила Игнатьевича Панфиловича.

Вот что он писал в этом письме:

«Сибиряки — самые лучшие воины, каких я только встречал в течение пройденных мною трех войн. Они были способны выполнить самую трудную из трудных задач.

Помню иркутянина Тараканова. В одном из боев группа разведчиков — 16 человек была отрезана огнем вражеского дзота. Разведчик Тараканов пробрался к огневой точке и гранатой взорвал ее. Сам он геройски погиб, открыв свободный выход из боя остальным.

Разведчик Тараканов — это Матросов 114 сибирской стрелковой дивизиии».

Ни имени, ни отчества генерал не указал и приступать к розыску родственников человека, да еще с такой распространенной фамилией дело довольно сложное.

Я решил сначала найти бывших бойцов 114 сибирской стрелковой дивизии, чтобы узнать от них какие-то подробности службы и гибели Тараканова.

После многочисленных официальных запросов в различные военные ведомства и встреч с фронтовиками выяснить ничего не удалось. Бывшие солдаты, с которыми мне приходилось беседовать, прибывали в дивизию позднее этого события или наоборот, — раньше, но были вскоре ранены, так и не узнав о подвиге своего земляка.

калье. Там зимой и 55 бывало. И пели. Да еще как! Но, глядя сейчас на вас, я другое вспомнил.

Окончили мы училище в сорок третьем, и всей нашей ротой отправились на фронт. Прибыли в подмосковный городок Зарайск в запасной полк все вместе. Командиром там был подполковник.

Но и личность была — бог ему прости! Надзиратель по натуре, как их вот в литературе описывают, с первой встречи он произвел на нас скверное впечатление. Да нам, молодым офицерам, не понравилось и то, что сравнительно молодой, кадровик, не ранен, не награжден. Ясно — в тылу спрятался. Теперь, задним числом, я думаю — больной он был. Уж больно желчный, сухарь.

Как только нам объявили, что отправляют в другой прифронтовой запасной полк, так мы «ура» закричали.

Да, да, так надоел нам подполковник, хоть и жили-то мы всего около недели в Зарайске.

Собрали мы чемоданы, вышли ротой на улицу, ротный командует:

— Становись.

Построились. А ротный нам попался из фронтовиков, старший лейтенант. Он после ранения не совсем поправился, и его задержали в полку. Ротный — прямая противоположность командиру полка. Золотой парень.

— Ну, что, споем, может, в последний раз, если поется. А нет, так ну ее, песню, — указал ротный адрес куда. И так он все сказал — затронул в душе у каждого что-то.

— Споем, — дружно ответили мы.

— Шаго-ом-марш! Запевай, — весело скомандовал ротный.

Запели мы. И песню-то не ахти какую. Хор из оперы «Тихий Дон».

Шли по степи полки со славой громкой,
Шли по степи со склона и на склон.

Начали хорошо. А как прозвенела в морозном воздухе фраза:

Ковыльная родимая сторонка,
Прими от красных конников поклон, —

почувствовали все — никогда так не пели.

И сразу видим: хлопают окна (хоть и зима была), калитки и народ, да, народ, кто в чем бежит нам навстречу. Мальчишки и девчонки, те выскочили в рубашонках и платьишках и тоже за нами.

Поем и чувствуем комок в горле. Женщины платками машут, плачут вслед, а

Большую помощь мне оказала капитан медицинской службы — ныне хирург областной клинической больницы Эмма Моисеевна Лифшиц. Она хорошо запомнила случай с Таракановым. О нем много говорили в медсанбате дивизии. Эмма Моисеевна и сообщила имя героя — Александр.

И снова запросы, встречи с участниками боев под Ленинградом, и снова неудачи.

Я очень признателен работнику Главного управления кадров Министерства обороны Союза ССР В. В. Кудриной, заместителю начальника отдела по присвоению воинских званий и награждениям капитану 1-го ранга тов. Мирошнику, начальнику отдела центрального аппарата Главного управления кадров Министерства обороны СССР генерал-лейтенанту В. Ф. Лободе, которым удалось установить, что «Тараканов Александр Алексеевич 1922 года рождения, уроженец Свердловской области Синячихинского района, поселок Верхняя Синячиха, значится награжденным медалью «За боевые заслуги» указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года по должности бывшего разведчика 363 стрелкового полка 114 сибирской стрелковой дивизии (Ленинградский фронт), в воинском звании рядового. Эта награда ему вручена.

В 1948 году проживал по месту своего рождения — улица Фрунзе дом 10».

Меня смутило то обстоятельство, что Тараканов является коренным уральцем, а не иркутянином, как это писали в своем стихотворении К. Ф. Седых и в письме генерал-майор М. И. Панфилович.

мы не идем, а плывем, и слезы навертываются на глаза. А шагаем как? Так по Красной площади ходят.

Чак! Чак! Чак! Чак! — как автомат ступает рота.

Пришли на площадь, ждет там нас этот сухарь — подполковник.

Ротный остановил строй, докладывает о прибытии, голос дрожит, но чувствуется в нем святая гордость за нас, за песню, за людей, что пришли с нами.

Выслушал подполковник рапорт, и видим — того и гляди заплачет человек.

Да, да, да, не удивляйтесь! Я вам не сказки придумываю. Видели бы вы это все.

— Здравствуйте, наши дорогие защитники Отечества! — здоровается подполковник.

— Здравия желаем, товарищ подполковник, — так мы ему дружно гаркнули в ответ, как он, наверное, и в жизни своей не слыхивал. Забыли и надзирателя, и сухаря желчного. Все мы ему в ту минуту простили.

Вот что такое песня в армии. А вы думаете, это старшине надо.

Комбат замолчал.

— Разрешите распустить роту, товарищ майор, — обратился к нему старшина.

— Нет, погоди старшина, мы еще споем. Споем? — обратился майор к строю.

— Споем, — не складно, но дружно ответила рота.

И. И. КУЗНЕЦОВ

ИРКУТСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА ФРОНТЕ

В первые же дни Великой Отечественной войны иркутские писатели объявили себя мобилизованными. Прекрасно сознавая роль советской литературы, они сделали все, чтобы увековечить героическую борьбу Советской Армии с фашистскими захватчиками, прославить трудовые дела работников глубокого тыла. Они создали немало талантливых произ-

---

Я отправил письмо по указанному адресу с призрачной надеждой на то, что мне кто-нибудь ответит. Ведь прошло более двадцати лет. И за это время могли измениться адрес, название улицы и т. д. Одновременно я связался с бывшим начальником штаба 206 отдельного противотанкового истребительного дивизиона майором запаса Савелием Романовичем Джиголой и комиссаром 363 стрелкового полка И. Макулой из Красноярска. Но они к сожалению, ничего не смогли мне рассказать утешительного о Тараканове.

Однако на все интересующие меня вопросы ответил сам Тараканов. Мое письмо нашло Александра Алексеевича на Кубани. Оказывается в Верхней Синячихе живет его мать. Она и переслала письмо по назначению.

Вскрывая голубенький конверт, я еще сомневался, что это именно тот Тараканов. Мои опасения были напрасны. Он оказался тем самым разведчиком, которого генерал-майор М. И. Панфилович, назвал Матросовым 114 Сибирской стрелковой дивизии.

В Советскую Армию Александр Тараканов был призван Алапаевским РВК Свердловской области 28 июля 1941 года. В 363 стрелковый полк он попал 26 ноября этого года из полковой школы, находившейся в небольшом районном центре близ Уфы.

Сначала Тараканов службу проходил в третьей роте первого батальона. Потом после долгих настойчивых просьб солдата перевели в полковую разведку.

Тот бой, о котором рассказал генерал-майор М. И. Панфилович, происходил на Свири 8 октября 1942 года.

ведений, правдиво и ярко рассказывающих о незабываемых днях войны.

Но не только разносторонней творческой работой проявили себя наши земляки. Они выступали в роли военных журналистов, политработников, а то и просто воинов, с оружием в руках отстаивавших свою Родину от посягательств оккупантов. Вот эта сторона деятельности иркутских писателей менее известна.

Уже в первый месяц войны многие члены иркутской писательской организации были призваны в ряды Советской Армии. В июле 1941 г. военную форму надели А. И. Гайдай, И. С. Луговской, Г. М. Марков, И. И. Молчанов, К. Ф. Седых; журналист Г. И. Коненкин и другие.

В предисловии к книге «Орлы над Хинганом» Георгий Мокеевич Марков вспоминает о той поре: «Восемнадцатого июля 1941 г. вместе с другими писателями Иркутска я пришел в горвоенкомат для получения мобилизационного предписания. Ни у меня, ни у моих товарищей по работе не было никаких сомнений относительно того, что путь наш лежит на запад. Когда мы погрузились в вагоны, наш эшелон двинулся на восток. Как все советские люди, мы, писатели-сибиряки, были охвачены тогда одним желанием — скорее влиться в ряды Советской Армии и принять непосредственное участие в ее героической борьбе с фашистскими ордами, вероломно вторгшимися на нашу священную землю. То что эшелон двигался в противоположном от фронта направлении, означало, что нам уготована какая-то иная воинская судьба. Так оно и случилось»[1].

Военными корреспондентами газеты Забайкальского фронта «На боевом посту», переименованной затем в «Суворовский натиск» стали майор Г. М. Марков, капитан И. С. Луговской и Б. А. Костюковский. Старший лейтенант А. И. Гайдай начал

[1] Г. М. Марков. Солдат пехоты, стр. 5.

Разведчикам была дана задача перейти небольшую речушку Яндебу и произвести разведку боем, чтобы в обороне противника выявить огневые точки и закрепиться на Петрозаводском шоссе.

В четыре часа утра под прикрытием артиллерии и минометов 16 разведчиков переправились через Яндебу и вплотную подобрались к линии обороны противника. Разведчиков заметили. Их в огненное кольцо взяли два дзота. Пути назад не было.

К огневым точкам поползли трое. Слева Тараканов, в середине Целуйко, справа В. Рыбаков. Был уничтожен правый дзот. Другой не давал разведчикам оторваться от земли. Вперед выдвинулся Тараканов. Он приблизился к дзоту на расстояние пяти шагов, рывком поднялся и, на ходу выдернув предохранительную чеку из гранаты, метнул ее в амбразуру. Взрыв гранаты он не услышал. На какую-то долю секунды раньше взрыва грудь разведчика прошила огневая строчка.

В сознание Тараканов пришел в траншее у своих. Мутными глазами посмотрел он на склонившихся над ним товарищей и снова впал в забытье. Так в беспамятстве Тараканова и увезли в госпиталь, в котором он пролежал несколько месяцев.

После выздоровления разведчик попал в нестроевую часть и, следовательно в 363 стрелковый полк не вернулся, а там его считали умершим от ран.

Но солдат выжил. Свое взяли крепкий молодой организм и отличное здоровье.

работать в редакции военной газеты «Красноармейское слово», а затем в газете 36-й армии «Вперед, к победе», майор И. И. Молчанов стал военным журналистом в газете 17-й армии «Героическая красноармейская». Для некоторых из них военная жизнь была не новой. Так, майор И. И. Молчанов в 1925—1926 гг. отслужил действительную, призывался в армию во время событий у оз. Хасан и на реке Халхин-Гол в 1938 и 1939 гг., проходил военные сборы. Опыт военной службы помог ему быстро освоиться с новыми задачами, войти в курс фронтовой обстановки.

В течение почти четырех лет воины-забайкальцы выполняли ответственное поручение Родины — зорко стерегли наши восточные границы, обеспечивали мирный труд и безопасность не только советских людей, но и трудящихся братской Монгольской республики. Округ подготовил немало боевых резервов для действующей армии. В боях с врагом они прославили имя советского воина-сибиряка. В успешном выполнении заданий Родины немалая заслуга политработников, в том числе военных журналистов, которые неустанно работали над военным и политическим воспитанием воинов. А когда пришел приказ Родины потушить второй очаг мировой войны, писатели-иркутяне вместе с воинами Забайкальского фронта совершили легендарный маньчжурский поход, который привел к окружению основных сил японских милитаристов. За свои боевые заслуги, личное мужество и отвагу, проявленные в дни войны с Японией они были отмечены высокими боевыми наградами: орденами Красной Звезды — И. С. Луговской и И. И. Молчанов, орденами Отечественной войны II степени А. И. Гайдай и Б. А. Костюковский медалью «За боевые заслуги» Г. М. Марков.

Демобилизовался Тараканов 19 августа 1945 года. В настоящее время живет и работает строителем-монтажником в Темрюкском районе Красноярского края, поселок Пенная, улица Мира, дом № 66, квартира 11. У него растут два сына и дочь.

...После того, как пришло письмо от Тараканова, я снова побывал у Константина Федоровича Седых и сообщил, что герой его стихотворения «Парень из Иркутска» жив. Писатель очень обрадовался и попросил передать бывшему разведчику самые горячие поздравления.

Правда, Тараканов в Иркутске и области никогда не проживал. В стихотворение вкралась ошибка. Но она вполне оправдана. Ведь дивизия-то была сибирской. Более пятидесяти процентов личного состава в ней были иркутяне. И далее, если бы не было этой ошибки, возможно о подвиге Тараканова мы никогда не смогли узнать.

К сожалению его боевых друзей В. Рыбакова, Целуйко, Погодаева не удалось разыскать. Но это, разумеется, дело будущего. Что же касается награждения, то из письма командира дивизии М. И. Панфиловича я понял, что Тараканов был представлен к высокой боевой награде, которую до сих пор не получил. В отделе по присвоению воинских званий и награждений Главного управления кадров Министерства обороны СССР никаких документов на этот счет не имеется. Вероятно, наградной лист или ходатайство на награждение рядового Тараканова в суматохе военного времени затерялись в воинских канцеляриях. Да и в сущности здесь не имеет значение тот факт, что на груди у героя разведчика пока еще только две медали. Война оставила нам немало безвестных героев, у которых и слава и награды впереди. Для героя, мне кажется, самое главное — память народа и уважение людей.

С первых же дней Великой Отечественной войны оказались на фронте и писатели старшего поколения, родившиеся или жившие в Иркутске. Участник гражданской войны иркутянин Леонид Соболев проводил большую партийно-политическую работу среди моряков Черноморского, Балтийского флотов, непосредственно участвовал в ряде десантных операций, прославив героев-моряков в своем замечательном сборнике «Морская душа», очерках и рассказах.

На третий день войны выехал на фронт Джек Алтаузен, уроженец Бодайбо, автор «Безусого энтузиаста», вошедшего в сокровищницу советской поэзии. Старший политрук Алтаузен был сотрудником фронтовых газет сначала 12-й, а потом 6-й армии Юго-Западного фронта «Звезда Советов» и «Боевая красноармейская». «Рядовой газетного полка» называл он себя в те дни», — вспоминает поэт Евгений Долматовский. «Алтаузен печатался в каждом номере своей газеты. Не только стихи, но статьи, заметки, фельетоны — все, что было нужно, писал он... Джек был известен как замечательный оратор. Он по нескольку раз в день выступал перед бойцами, где это только было возможно»[1].

Воздействие поэтического творчества Алтаузена на воинов было так велико, что Военный Совет 6-й армии специально заседал «По заслушиванию стихов Джека Алтаузена»[2]. Заслуги поэта были отмечены орденом Красного Знамени (приказ по 6-й армии № 0,4/н от 9 ноября 1941 г.). 17 декабря 1941 г. ему была вручена боевая награда. Джек Алтаузен был первым писателем, получившим во время Великой Отечественной войны орден Красного Знамени. Наш земляк погиб во время Харьковской операции 25 мая 1942 г.,

---

[1] В редакцию не вернулся. Сборник. Политиздат, 1964. стр. 189.
[2] Там же, стр. 188.

ЗАПИСКА В МЕДАЛЬОНЕ

Июльским утром 1941 года к маленькой деревушке Федоровке, Новоград-Волынского района, Житомирской области, подошли передовые части фашистских войск. Немцы никак не предполагали, что здесь, у нескольких покосившихся избенок, русские смогут им оказать серьезное сопротивление. Однако они просчитались.

С окраины деревни в упор ударили автоматы, винтовки. Немцы опешили, а когда пришли в себя, то несколько грузовиков и мотоциклов уже полыхали ярким пламенем.

Бой длился девять суток. Когда у бойцов кончились боеприпасы, они отошли, заминировав отдельные участки дороги.

...Закончилась война. Расцвела краше прежнего Федоровка. Но по сей день хранят ее жители память об огневых годах. Есть за околицей села священное место, куда часто наведываются федоровцы. Это братское кладбище, на котором вечным сном спят совсем молодые ребята, надевшие в первые дни войны солдатские гимнастерки.

15 июля 1968 года в старом окопе колхозники обнаружили останки четырех воинов. Ими оказались кубанец Николай Пискунов, кемеровец Василий Корниенко, Андрей Смерека из Винницкой области. В четвертом найденном медальоне они прочли следующее:

до конца выполнив свой гражданский долг.

С августа 1941 г. пером и штыком бил врага на Брянском фронте поэт Иосиф Уткин. Официально он считался поэтом-литератором фронтовой красноармейской газеты «На разгром врага». Но творчество военных лет выходило далеко за рамки одной газеты и одного фронта. Лучшие патриотические стихотворения этого периода «На Днепре», «Клятва», «Допрос», «Беженцы» звучали по всей стране.

Комсомольского поэта Иосифа Уткина любила не только молодежь. Поэт непосредственно участвовал в боевых операциях. Так, в сентябре 1941 г. в районе деревни Жуковка в схватке с фашистами он проявил личную отвагу и самоотверженность. Осколком мины И. Уткину оторвало кисть правой руки[1]. Едва оправившись от ранения, он снова на фронте. Мужество и многогранная поэтическая деятельность поэта на фронте были отмечены орденом Красной Звезды (приказ по Брянскому фронту № 18/н от 21 февраля 1942 г.).

В одной шеренге со старшими шагали поэты молодого поколения. Кто из иркутян не помнит начинающего поэта, рабочего иркутского мясокомбината Ивана Александровича Черепанова. Он громко заявил о своем редком даровании на страницах альманаха «Новая Сибирь», газеты «Восточно-Сибирская правда». «У памятника Ленину», «Страна родная», «Мать и сын», «Песня» и многие другие его стихи и поэмы отличались ярким талантом, свежестью, глубоким пониманием жизни. Война заставила сменить 23-летнего поэта карандаш на пулемет «максим». В ожесточенных оборонительных боях на Сталинградском направлении метко разил врага рядовой 1164-го стрелкового полка 346-й дивизии Иван Александрович Черепанов. В

[1] Архив Министерства обороны (АМО), ф. 33, оп. 682, 524, д. 392, л. 30.

«Таращук Анатолий Семенович призван Черемховским военкоматом 27 апреля 1941 года. Домашний адрес: г. Черемхово, ул. Красной Звезды, 67, фамилия родственников Сакоде...» Далее записка оборвана, поэтому окончание фамилии неизвестно.

Сначала я попытался справиться по указанному адресу. Безрезультатно. Улица более чем за 25 лет расстроилась, поэтому нумерация домов совершенно другая. Но тем не менее дом, в котором жил Таращук, хорошо сохранился. Он стоит сейчас под номером 75. Те, кто в нем живут, к сожалению, совсем не помнят о семействе Таращуков. Запрос в военкомат тоже ничего не дал. Никаких документов за тот период не сохранилось. Оставался последний путь: публикация в газете.

27 августа 1968 года рассказ об этом событии был напечатан в «Восточно-Сибирской правде». Я надеялся что откликнутся родственники Таращука или его знакомые.

Однако в редакцию пришло только одно письмо, которое не давало даже самой малой надежды на успех. Гражданка Н. Никонова написала, что хорошо знала сестру Анатолия — Краюхину Нину, умершую в 1966 году.

Вполне возможно, что на этом поиск мог бы закончиться, если бы не взволновавшее меня сообщение из Житомира от Николая Владимировича Павлова.

Павлов — участник Великой Отечественной войны. Он хорошо знал Анатолия Таращука. Познакомился с ним на одном из сборных пунктов, откуда молодых солдат направляли в подразделения. Письмо в Иркутск Павлов решил написать после того, как узнал о находке федоровцев в старом окопе.

перерыве между боями он читал боевым товарищам свои стихи, воспевающие родную страну, ее природу, замечательных людей. Смертью храбрых погиб И. А. Черепанов в бою за Родину 2 февраля 1943 г. и похоронен в с. Богатове, Белокалитвенского района, Ростовской области[1].

И еще одного поэта-фронтовика хочется назвать в этом коротком вступлении к публикации — Моисея Александровича Рыбакова. Родился он в 1919 г. в Иркутске в семье служащего, окончил летом 1936 г. среднюю школу № 11 с отличием и поступил в университет на физико-математический факультет. Рано оставшись без родителей, Моисей Рыбаков работал грузчиком, сотрудником в геологических экспедициях, внештатным корреспондентом в газетах. За отличную учебу он был удостоен именной стипендии крайисполкома[2]. 14 июля 1941 г. он получил диплом с отличием о присвоении квалификации физика и через несколько дней был призван в армию.

В феврале 1942 г. он уже на фронте. В эти дни в «Восточно-Сибирской правде» было напечатано его стихотворение «Сегодня я присягаю».

Клянусь я верностью Отчизне
Клянусь перед своей страной,
Не пожалеть ни сил, ни жизни
Для дела партии родной[3].

И это была его искренняя фронтовая клятва. На Юго-Западном, Сталинградском и Южном фронтах сражался капитан М. Рыбаков — старший помощник начальника оперативно-разведывательного отделения штаба 9-й инженерно-минной бригады. На его счету тысячи метров разминированных дорог, наведенных переправ, построенных укреплений. Во время ожесточенных боев на р. Миус в июне 1943 г. он был ранен осколком фашистской мины, но продолжал руководить подразделениями. Боевой

[1] Справка отдела учета персональных потерь Министерства обороны СССР 1 июня 1966 г.
[2] Архив Иркутского государственного университета, оп. 4, дело 2025, л. 4.
[3] «Восточно-Сибирская правда», 23 февраля 1942 г.

Зимой 1941 года Николай Владимирович встретился с одним красноармейцем из части, в которой служил Таращук. Фамилию красноармейца Павлов не запомнил. Красноармеец рассказал следующее:

«Когда у нас стали кончаться боеприпасы, и немцы с флангов начали обходить остатки стрелковой роты, бойцы, минируя после себя дорогу, отошли за восточную окраину Федоровки. Таращук со своими друзьями кубанцем Николаем Пискуновым, кемеровцем Василием Корниенко и Смерекой из Винницкой области находились в одном окопчике. Они решили прикрыть огнем отходивших товарищей. Их окружили. На окопчик двинулся тяжелый танк. Кто-то из бойцов приподнялся и метнул в бронированную громадину бутылку с зажигательной смесью. Танк вспыхнул, но продолжал двигаться вперед. Он наполз на окопчик и покрутился на нем несколько раз, вдавив смельчаков в землю.

Немецкие танкисты выскочили из горящей машины. Потом ее оттуда убрали, а четверо так и остались лежать в окопчике, в котором приняли свое первое боевое крещение, и который стал для них более, чем на четверть века безымянной могилой».

Разумеется, умалчивать об этой истории было нельзя. Поиск возобновился. Я написал письмо заведующей методическим кабинетом Черемховского районо А. И. Смешиловой с просьбой помочь в розыске родственников Анатолия Таращука. Надо отдать

командир, в котором удачно совмещались и физик, и лирик, был награжден за образцовое выполнение заданий орденом Красной Звезды (приказ по 44 армии № 047/н от 21 августа 1943 г.). 17 июля 1943 г. у с. Берестово, когда под ураганным огнем фашистов наши цепи залегли, капитан Рыбаков выявил места переправы вброд через р. Миус, чем спас жизнь многим нашим бойцам и командирам. Увлекшись наступательным порывом, он оказался впереди наступающих подразделений и был сражен на поле боя[1]. Посмертно капитан М. А. Рыбаков был награжден орденом Отечественной войны I степени (приказ по войскам 28-й армии от 30 августа 1943 г.). Потомки помнят его проникновенные строки из неоконченной фронтовой пьесы «Мы солдаты».

Охваченная радостным и новым
Свободная, счастливая семья
Услышит и помянет добрым словом,
Меня за то, как жил и умер я...

Память о поэте М. А. Рыбакове и о других наших земляках, павших в огненные годы, будет жить вечно.

Мы предлагаем читателю бесценные документы тех лет — наградные материалы о боевой доблести наших иркутских поэтов и писателей. Пусть они, извлеченные из глубин хранилищ Архива Министерства обороны СССР, напомнят современнику о том вкладе, который иркутяне внесли в дело Победы, о том, как они понимали и выполняли свой гражданский долг. Биографические сведения приводятся по учетным данным наградного отдела Главного управления кадров Министерства обороны и библиографического отдела Иркутской областной библиотеки. Документы даются в хронологическом порядке.

[1] АМО, ф. 33, оп. 682 526, д. 1375, л. 97.

должное Александре Ивановне. Она, не считаясь со временем, обошла несколько улиц, побывала в школах и узнала имя матери солдата — Васса Федоровна.

В записке из медальона упоминалась первая часть фамилии родственников — Сакоде... Возникло несколько вариантов: это могли быть Сакодеины, Сакоделовы, Сакодеевы. И опять помогла Смешилова. Она съездила на улицу Кирова, где жила когда-то сестра Таращука, Нина. Ее свекровь, сообщила, что где-то на Бабушкиной заимке живет дядя Анатолия — Сакодеев.

Я срочно отправился в Черемхово. Надо отметить, что фамилия Сакодеевы довольно редкая в городе. Однако на Бабушкиной заимке с такой фамилией за последние тридцать лет никого не было. Лишь к вечеру следующего дня мне повезло. Михаила Федоровича Сакодеева и его жену, Любовь Васильевну, я разыскал на железнодорожной станции Гришево. (Они живут по улице Ломоносова, 18). Сакодеевы и сообщили адрес матери Анатолия, проживающей с дочерьми Надеждой и Татьяной в Новосибирске.

Прямо из Черемхова отправил письмо Вассе Федоровне. Ответ не заставил себя ждать. Вот что она написала: «Анатолий был комсомольцем. Учился в школе № 4 г. Черемхова. Затем пошел работать на шахту № 5 учеником навалоотбойщика (сейчас эта шахта закрыта). В апреле 1941 года Анатолий изъявил добровольное желание слу-

Алтаузен Яков Моисеевич[1], старший политрук, писатель газеты «Боевая красноармейская» 6-й армии, к ордену Красной Звезды. «Работая в газете «Боевая красноармейская» с первых дней Великой Отечественной войны, поэт Алтаузен приложил много усилий к тому, чтобы сделать газету содержательной, зовущей к борьбе и победам. За 4 месяца тов. Алтаузен дал в газету более 60 стихов. Лично бывая на передовых позициях, тов. Алтаузен знакомится с передовыми бойцами и командирами, в доходчивой форме популяризирует их боевые подвиги. Так появились стихи «Лейтенант Найман» (12.VII), «Танкист Кузьма Кутепов» (10.IX) и ряд других. Фронтовая лирика Алтаузена зовет к борьбе с оголтелыми фашистскими бандами, воспитывает презрение к смерти, бесстрашие в бою, великую ненависть к врагам нашей Родины.

Из этого цикла следует прежде всего отметить стихотворение «Ненависть»: «Вам еще придется, изуверы, в полный рост увидеть наш народ», — говорится в этом стихотворении, завоевавшем большую популярность в армии. С огромным интересом встречено бойцами и командирами «Полит-

---

[1] Родился 14 декабря 1907 г. в семье золотоискателя-старателя в г. Бодайбо, Иркутской области. После смерти матери с 11 лет начинает трудовую жизнь, работает мальчиком в гостинице, на пароходе, продавцом газет в Харбине, Шанхае, работает на кожевенном заводе в Иркутске. В 1923 г. во «Власти труда» появляется его первое стихотворение. С 1923 г. живет в Москве. Автор поэм «Безусый энтузиаст», (1929), «Первое поколение» (1933). В Советской Армии с 22 июня 1941 г., призван московским горвоенкоматом. Член партии с 1939 г. Был представлен к ордену Красной Звезды. Командующий 6-й Армией Р. Я. Малиновский утвердил более высокую награду—орден Красного Знамени. Погиб 25 мая 1942 г. на Юго-Западном фронте под фашистским танком, пытаясь прорваться из окружения в районе Барвенково.

жить в Красной Армии. Последнее письмо с места его службы пришло из небольшого городка на Западной Украине, потом пропал без вести».

В каком же подразделении служил Таращук, под чьим командованием? Нашелся ответ и на эти вопросы. Его я получил из Главного управления кадров Министерства обороны СССР и инструктора Новоград-Волынского городского комитета ДОСААФ майора запаса Ивана Дмитриевича Подиенкова.

«Немцы устремились во что бы то ни стало захватить важный железнодорожный узел — станцию Коростень. Дорога к этому узлу лежала через деревню Федоровку. 7 июля 1941 года фашисты со стороны села Ужачин подошли к Федоровке».

Как уже рассказывалось, немцам дали достойный отпор. Сотни трупов гитлеровцев валялись на земле. Здесь сражались бойцы одного из стрелковых подразделений капитана Ивана Ильича Бокова.

В течение девяти дней Федоровку бомбили «юнкерсы», обстреливали из орудий, но советские воины не сдавали позиций.

16 июля в контратаку двинулись свежие силы противника — танки, самоходки, эсэсовцы.

В тот день в неравном бою смертью героев пали командир батальона капитан И. И. Боков, комсомольцы Таращук, Буньков, Таньян, Смерека, Корниенко, Пискунов и другие. Но они до конца выполнили боевую задачу.

Тайна старого окопа раскрыта, а сколько еще подобных загадок таится в нашей земле. Пройдет немало времени, и мы узнаем о новых именах, новых подвигах, которые навечно впишутся в историю Великой Отечественной войны.

боец Порфирий Бабий». Значительное место в творчестве тов. Алтаузена заняли и сатирические стихотворения. Здесь есть отклики на злободневные международные темы («Запсиховал», «Не будем сравнивать» и др.), фронтовые частушки, подтекстовки к карикатурам и т. д.

Поэт Алтаузен завоевал творчеством большую популярность среди бойцов и командиров. Тов. Алтаузен показал себя преданным Родине, партии Ленина. Он в любых условиях отлично выполнял все задания редакции и политотдела».

Ответственный редактор газеты полковой комиссар Рожков.

Ходатайствую о награждении поэта Алтаузена орденом Красной Звезды. Начальник политотдела 6-й армии полковой комиссар Степанов.

Достоин награждения орденом Красного Знамени, командующий 6-й армией генерал-майор Малиновский, член Военного Совета бригадный комиссар Ларин, 4 ноября 1941 г.[1].

Уткин Иосиф Павлович[2], военного звания не имеет, поэт-литератор фронтовой красноармейской газеты «На разгром врага», к ордену Красной Звезды.

«Поэт Уткин работал в редакции фронтовой газеты «На разгром врага», показал себя преданным делу партии Ленина и социалистической Родины. В боях с немецкими оккупантами проявил личную смелость, отвагу и мужество. В период боя одно из подразделений 856-го стрелкового полка проявило нерешительность, а отдельные бойцы трусость, тов. Уткин личным примером воодушевил бойцов, и положение было восстановлено, полк отстоял занимаемый рубеж. Тов. Уткину осколком мины оторвало кисть правой руки.

Его выступления в газете «На разгром врага» целеустремленны. Ими тов. Уткин вселял в бойцов уверенность в нашу победу и неизбежность разгрома фашистских захватчиков. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашизмом поэт Уткин Иосиф Павлович достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды».

---

[1] АМО, ф. 33, оп. 682 524, д. 418, лл. 422—423. Приказом по Юго-Западному фронту т 9 ноября 1941 г. № 04/н награжден орденом Красного Знамени.

[2] Родился в 1903 г. на ст. Хинган в Маньчжурии в семье служащего, беспартийный. Учился в иркутской гимназии. В 1920 г. добровольцем ушел в Красную Армию. Начал печататься с 1923 г. Автор стихотворений, «Повести о рыжем Мотэле». Творчество комсомольского поэта Иосифа Уткина высоко оценивал Маяковский. На фронтах Отечественной войны с августа 1941 г.. призван московским горвоенкоматом. Был тяжело ранен в сентябре 1941 г. на Брянском фронте. Работал в ряде фронтовых газет. Погиб при авиационной катастрофе в 1944 г. Именем поэта названа улица в Иркутске.

Начальник Политуправления Брянского фронта дивизионный комиссар Пигурнов. 6 декабря 1941 г.[1]

Рыбаков Моисей Александрович[2], капитан, старший помощник начальника оперативно-разведывательного отделения штаба 9-й инженерно-минной бригады. К ордену Красной Звезды. «Капитан Рыбаков продолжительное время находился в 135-м отдельном инженерно-минометном батальоне в качестве представителя бригады. Батальон ранее находился в оперативном подчинении 28-й армии, затем в подчинении 44-й армии и обеспечивал в инженерном отношении части этих армий и в частности 37-й стрелковый корпус. За короткий срок батальоном установлено перед передним краем нашей обороны много минных полей общим количеством: противотанковых мин 2425, противопехотных 2300, мин осколочно-фугасных 209, бутылок КС—4540[3], установлено 45 штук мин замедленного действия, построены командные пункты и блиндажи для 37-го стрелкового корпуса и 44-й армии, произведена инженерная разведка в полосе действия 37-го стрелкового корпуса, в том числе р. Миус. Все эти задания батальона выполнены при активной помощи капитана Рыбакова. Имея хорошую инженерную подготовку, отлично зная минно-подрывное дело, смелый, бесстрашный командир являлся на самых ответственных участках работы и, несмотря на обстрел противником места производства работ, показывал подразделениям практическую помощь в выполнении заданий. Благодаря помощи, оказываемой командованию батальона тов. Рыбаковым, батальон в целом успешно выполнял все задания, не имея каких-нибудь потерь. Личной заслугой тов. Рыбакова является также хорошее и правильное оформление документации по фиксации минных полей. При выполнении последующего задания по минированию переднего края нашей обороны, получив ранение от осколков вражеской мины, продолжал руководить подразделением до представления возможности эвакуации в госпиталь».

Начальник штаба 9-й инж. мин. бригады майор Исупов.
Нач. опер. развед. отделения майор Довгалевский.

27 июня 1943 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.

---

[1] АМО, ф. 33, оп. 682 524, оп. 392, л. 30. Приказом по войскам Брянского фронта № 18/н от 21 февраля 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

[2] Родился в 1919 г. в г. Иркутске в семье служащего, член ВЛКСМ, с. 1927 г. по 1936 г. учился в школе № 11, с 1936 по 1941 — в Иркутском госуниверситете на физико-математическом отделении. С июля 1941 г. в Советской Армии. Призван иркутским горвоенкоматом. Окончил Черниговское военно-инженерное училище. С 15 февраля 1942 г. — на фронтах Юго-Западном, Сталинградском, Южном. В июне 1943 г. ранен. Погиб 17 июля 1943 г. Автор многих патриотических стихотворений и неоконченной пьесы «Мы солдаты».

[3] Бутылки с зажигательной смесью.

Командир 8-й инж. мин. бригады майор Щ а н к и н.

28 июня 1943 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени.

Начальник инженерных войск 44-й армии Ю в е н с к и й.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командующий 44-й армией генерал-лейтенант Х о м е н к о.

Член Военного Совета генерал-майор У р а н о в»[1].

Рыбаков Моисей Александрович, старший помощник начальника оперативно-разведывательного отделения штаба 9-й инженерно-минной бригады. К ордену Отечественной войны I степени.

«Капитан Рыбаков продолжительное время находился в 135-м отдельном инженерно-саперном батальоне в качестве представителя бригады. Батальон находился в оперативном подчинении 37-го стрелкового корпуса и обеспечивал его в инженерном отношении. За время пребывания тов. Рыбакова в батальоне было установлено перед передним краем обороны 5000 разных мин, построены командные и наблюдательные пункты, произведена инженерная разведка в полосе действия 37-го стрелкового корпуса. Все эти задания батальоном выполнены при активной помощи капитана Рыбакова. Имея хорошую инженерную подготовку, отлично зная минно-подрывное дело, смелый, бесстрашный командир являлся на самых ответственных участках работы и, невзирая на обстрел противником места работы, оказывал подразделениям практическую помощь в выполнении заданий. Будучи раненым в июне месяце 1943 г. при минировании переднего края нашей обороны, продолжал руководить подразделением до представления возможности эвакуации в госпиталь. В первый день наступления на Миусском участке фронта 17 июля 1943 г. тов. Рыбакову было поручено обеспечение переправы в районе села Берестово. Ураганным огнем противник помешал возведению переправы. Передовые части вынуждены были залечь на левом берегу р. Миус, по которому противник вел сильный огонь. Создалось исключительно тяжелое положение. Находясь в передней линии стрелков тов. Рыбаков выявил места переправы вброд, по которым переправились наши передовые части. Только благодаря находчивости тов. Рыбакова был достигнут успех операции на этом участке. Увлекшись наступательным порывом наших бойцов, тов. Рыбаков оказался впереди наступающих подразделений и при переправе через р. Миус на восточной окраине Берестово был убит. За проявленную находчивость и личный героизм капитан Рыбаков достоин награды посмертно орденом Отечественной войны I степени».

---

[1] АМО, ф. 33, оп. 686 046, д. 329, л. 45. Приказом по войскам 44-й армии № 047/н от 21 августа 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Начальник штаба 9-й ин.-мин. бригады майор Исупов.

Нач. опер. развед. отдела майор Довгалевский.

7 августа 1943 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны I степени.

Командир 9-й инж.-саперной бригады майор Щанкин.

Достоин ордена Отечественной войны.

Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Герасименко.
Член Военного Совета генерал-майор Мельников.

15 августа 1943 г.[1].

Молчанов Иван Иванович [2], майор, писатель газеты 17-й армии Забайкальского фронта «Героическая красноармейская» — к ордену Красной Звезды.

«С первых дней войны с японскими агрессорами сумел установить тесную связь с широким военкоровским активом частей и подразделений армии. Оперативно освещает в газете работу партийных, комсомольских организаций и агитаторов в боевых условиях. Со всей страстностью воина-большевика в своих статьях воспитывает личный состав в духе беспредельной преданности к нашей Родине, партии Ленина и жгучую ненависть к заклятому врагу — японским империалистам. Простым большевистским словом мобилизует личный состав армии на подвиги во славу Родины, на разгром врага. Инициативен, пользуется авторитетом. Предан идеям партии Ленина. Достоин правительственной награды — ордена «Красной Звезды».

Ответственный редактор газеты 17-й армии «Героическая красноармейская» подполковник Юдин. 18 августа 1945 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник политотдела 17-й армии генерал-майор Ракогон[3].

---

[1] АМО, ф. 33, оп. 682 526, оп. 1375, л. 97. Приказом по войскам 28-й армии от 30 августа 1943 г. награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно.

[2] Родился в 1903 г. в г. Владивостоке, с 1905 г. жил в Иркутске. В 1923 г. в журнале «Красные зори» опубликовал первое стихотворение. Через 9 лет вышла книга стихов «Покоренный Согдиондон». Был руководителем литературного кружка, известного под названием «База курносых». В годы Великой Отечественной войны опубликованы сборник стихов «Полевая почта» (1942 г.), «Яблонька» (1943 г.) и др.

И. И. Молчанов-Сибирский один из организаторов иркутского комсомола. Член партии с 1927 г., вел большую общественную работу, был председателем Иркутского областного комитета защиты мира, членом советского комитета защиты мира. С 1933 г. бессменный секретарь Иркутского отделения ССП. Награжден орденом «Знак почета». Умер в 1958 г. Его именем названа областная библиотека.

[3] АМО, ф. 33, оп. 687 572, д. 2408, л. 338. Приказом по 17-й Армии № 05/н от 19 августа 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Марков Георгий Мокеевич[1], писатель фронтовой газеты «Суворовский натиск» — к медали «За боевые заслуги». «В дни, предшествовавшие началу военных действий в Маньчжурии т. Марков выступил во фронтовой газете с рядом материалов, способствующих воспитанию воинов в духе активных наступательных действий. Посланный военным корреспондентом в 17-ю армию он проделал с ней трудный переход по безводным пустыням Монголии и лишь ввиду отсутствия связи с армией его корреспонденции не могли быть пересланы в газету и опубликоваться. Принимая во внимание заслуги т. Маркова в воспитании личного состава войск фронта, считаю, что он достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Ответственный редактор газеты «Суворовский натиск» полковник Мельянцев. 27 августа 1945 г.

Достоин медали «За боевые заслуги».

Начальник политуправления Забайкальского фронта гвардии генерал-лейтенант Зыков. 31 августа 1945 г.[3]

Луговской Иннокентий Степанович[3], капитан, писатель фронтовой газеты «Суворовский натиск», к ордену Красной Звезды. «Одаренный писатель т. Луговской в результате длительных выездов в действующие войска написал ряд корреспонденций и очерков, показывающих героев наступления. Ему также принадлежит ряд стихотворений, помещенных в газете, прославляющих мощь советского оружия, и юмористических произведений, высмеивающих врага. За проявленное трудолюбие, боевую активность и инициативу т. Луговской достоин награждения орденом Красной Звезды».

---

[1] Родился в 1911 г. в с. Ново-Кустово, Асиновского района, Томской области, в семье охотника. С детства работал подпаском у местных богатеев. В 1925 г. в газете «Томский крестьянин» публикует первую корреспонденцию. С середины 30-х годов живет в Иркутске и работает над романом «Строговы». (Первая книга вышла в 1939 г., вторая — 1946 г.) В Советской Армии с июля 1941 г. по 18 декабря 1945 г., член партии с мая 1946 г. Лауреат Государственной премии. Автор романов и повестей «Солдат пехоты» (1948), «Соль земли» (1955). «Отец и сын». С 1956 г. ответственный секретарь правления Союза писателей СССР.

[2] АМО, ф. 33, оп. 686 196, д. 7509, л. 74. Приказом по Забайкальскому фронту № 012 от 13 сентября 1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги».

[3] Родился в 1904 г. в с. Турга, Читинской области, беспартийный, окончил среднюю школу на ст. Борзя, учился в институте журналистики в Москве. Печататься стал с 1925 г. в газетах «Забайкальский рабочий», «Тихоокеанская звезда». С 1930 г. живет в Иркутске и работает корреспондентом «Восточно-Сибирской правды». Автор сборников стихотворений «Просека» (1934), «Из полевой сумки» (1942), «Край любимый» (1956), «Утро Ангары» (1956), «Полдень» (1964) и др.

Ответственный редактор газеты «Суворовский натиск» полковник Мельянцев. 27 августа 1945 г.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Начальник Политуправления Забайкальского фронта гвардии генерал-лейтенант Зыков.[1]

Костюковский Борис Александрович[2], капитан, писатель фронтовой газеты «Суворовский натиск»—к ордену Отечественной войны II степени. «Писатель Костюковский, выполняя задания редакции в разгар военных действий был в подвижных частях фронта и первым вступил в г. Ванемяо. Через фронтовую газету популяризировал героев боев, способствуя развитию в войсках наступательного порыва. При выполнении заданий редакции действовал смело и решительно, презирая опасность. Первым из работников редакции по собственной инициативе прибыл в Порт-Артур, дав оттуда обстоятельную корреспонденцию. Молодой, растущий писатель-большевик тов. Костюковский достоин награждения орденом Отечественной войны II степени».

Ответственный редактор газеты «Суворовский натиск» полковник Мельянцев 27 августа 1945 г.

Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени.

Начальник Политуправления Забайкальского фронта гвардии генерал-лейтенант Зыков. 31 августа 1945 г.[3]

Гайдай Александр Иович[4], старший лейтенант, писатель газеты «Вперед к победе», к ордену Отечественной войны II степени. «В дни войны против японских агрессоров тов. Гайдай пламенным большевистским словом увлекал воинов на подвиги во имя Родины, разъяснял им звериное лицо японской военщины, правильно и своевременно отражал в газете

---

[1] АМО, ф. 33, оп. 686 196, л. 7509, л. 70. Приказом по Забайкальскому фронту № 012/н от 13 сентября 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

[2] Родился в 1914 г. в г. Канске, Красноярского края, член КПСС с 1938 г. Накануне войны жил в Иркутске, в Советской Армии с 1941 г. Призван Иркутским ГВК. Начал печататься с 1940 г. Автор книг «Сибиряки» (1947), «И снова весна...» (1948), «В горах Акатуя» (1952), «Утро Андрея Шилина» (1954), «Судьба друга» (1963), «Дорога к солнцу» (1963). Ныне проживает в Москве.

[3] АМО, ф. 33, оп. 686 196, д. 7509, л. 62. Приказом по Забайкальскому фрону № 012/н от 13 сентября 1945 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.

[4] Родился в 1919 г. в г. Свободном, Амурской области, в семье железнодорожного служащего, член партии с 1942 г. С 1931 г. живет в Иркутске, где окончил 10 классов средней школы и 3 курса физико-математического факультета университета. С 1934 г. начал печататься в иркутских газетах. В июле 1941 г. призван в Советскую Армию, в рядах которой прослужил 12 лет. Кроме ордена Отечественной войны, награжден медалью «За боевые заслуги» (1951) и несколькими юбилейными медалями. Написал ряд патриотических и лирических циклов стихов, автор сборника «Стихи» (Чита, 1947). Ныне корреспондент ТАСС по Восточной Сибири.

боевые дела наших воинов. За время войны неоднократно выезжал в район боевых действий, смело и добросовестно выполнял все задания редактора. Заслуживает награждения орденом Отечественной войны II степени».

Ответственный редактор газеты «Вперед к победе» майор Шкворников. 4 сентября 1945 г.

Достоин ордена Отечественной войны II степени.

Начальник политотдела 36-й армии полковник Гапоненко.

Достоин награды. Командующий 36-й армией генерал-полковник Лучинский.

Член Военного Совета армии генерал-майор Шмаленко[1].

---

[1] АМО, ф. 33, оп. 687 572, д. 2243, л. 227. Приказом по 36-й армии № 07 от 7 сентября 1945 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

Красные книжечки альманаха «Новая Сибирь» — предшественника «Ангары». Они выходили в грозные годы Великой Отечественной войны и на их страницах как старое, но грозное оружие — строки, написанные в те дни писателями и поэтами сибиряками. Они перед вами. Вчитайтесь в них, почувствуете время.

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

НОЧЛЕГ

Уставши думать о привале,
мы рвались яростно к реке,
и, наконец, заночевали
в австрийском чистом городке.
Как черти —
грязные от пыли,
от пороха и от песка,
мы осторожно позвонили
в резную дверь особняка.
Среди старинных гобеленов,
развешанных, как напоказ,
холодный,
важный
и надменный,
хозяин дома встретил нас.
Хозяйке было неприятно,
что мы вошли в ее мирок,
что на коврах остались пятна
от наших кирзовых сапог.
Они с тревогою глядели,
как в зеркалах отражены
не первой свежести шинели,
портянки наши
и штаны.
И долго там,
за голубою
стеной при тусклом огоньке
они шептались меж собою
на непонятном языке.
Но, господа!
Вы спите в доме!
Вы все равно у нас в долгу:
в размытом ливнем черноземе,
в гнилой соломе,
на снегу
три года
мы не досыпаем
и коченеем в холода.
И свой покой мы покупаем
своею жизнью, господа!
Мы все испили горя чашу —
не то, что с эгерским бокал.
За все земные блага ваши
я б кустик русский не отдал!
Мы здесь не гости...
В громе, в дыме,
спасают ваши города
Солдаты мира.
Перед ними
снимите шляпы, господа!

ИН. ЛУГОВСКОЙ

КЛЯТВА

Год испытаний нашей чести,
Суровый, мужественный год!
Кто в этот год великой мести
Винтовку в руки не возьмет?
С врагом должны свести мы счеты.
Пусть артиллерия гремит,
Не умолкают пулеметы
И рвется гулкий динамит.
Мы все до капельки считаем
И знаем меру наших мук,
Когда на воздух поднимаем
Плоды своих рабочих рук.
И мы клянемся — клятвой мщенья,
Тебе, Советская страна,
Что враг за кровь и разрушенья,
За все ответит нам сполна.
Ответит он за каждый волос,
Упавший с нашей головы,
За каждый вытоптанный колос
От Приазовья до Невы!
1942

И. МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ

ЗАБАЙКАЛЕЦ-РЯДОВОЙ

В памяти этих дней осталось
В русой пряди серебро,
Но об этом не писалось
В сводках Совинформбюро.
В дни, когда к стенам столицы
Полк резервный подходил, —
День и ночь солдат с границы
Глаз усталых не сводил.
В дни грозы, когда над Волгой
Бушевал жестокий шквал, —
Забайкальской ночью долгой
Он свой пост не покидал.
В лютый зной и в холод адский —
Неизменный часовой —
Выполнял свой долг солдатский
Забайкалец-рядовой.
Он не шел к Берлину с боем,
Вражьи танки не взрывал,
Он отечество собою
На востоке прикрывал.
1941

ГАЛИНА КОЖЕВИНА

ПАПАХА

Рассказ

Папаха исчезла. Это случилось в один из зимних дней, лет пятнадцать тому назад.

Вечера мы проводили обычно в кухне, у печки. Гасили лампу, и бревенчатые стены и большое окно, все в ледяном кружеве, тонули в сумраке.

Отец брал табуретку и клал ее набок. Я стаскивала с деревянного сундука овчину и застилала ею сиденье. Затем, когда отец усядется, забиралась к нему на колени.

Взяв с полу мокрую от снега лучину, отец быстрым движением откидывал дверцу печи, и нас обдавало жаром. На лицах передвигались багровые блики гудевшего в печи огня.

Пригретая с одной стороны печкой, с другой — широкой и теплой грудью отца, я слушала его рассказы. Празднично-ало было среди углей. Я любила часами следить, как в углях шевелится и ходит жар. На фоне этого огня для меня проходили события...

Я уже не помню слов, которые говорил отец, только помню, какие огромные

АН. ОЛЬХОН

ПОЛЯ СРАЖЕНИЙ

1

Отсюда далеко до линии огня,
Молчат снега, раскинувшись в покое.
Но часовые встретили меня,
Напоминая слово фронтовое.
Проверен пропуск.
Здесь гигантский дот.
Его хранят штыки сторожевые,
Никто сюда без спроса не войдет,
Хотя кругом леса стоят глухие,
Хотя кругом безлюдные хребты —
Сибирские завьюженные горы.
Но даже кедры встали на посты,
Но даже вьюги вышли на дозоры...
Здесь крепость.
Здесь военный арсенал:
Опора стратегического плана,
Резерв, который враг не подсчитал,
Сокровищница снежного Саяна.
Отсюда к фронту путь лежит прямой.
Никто не должен знать об этом месте.
И только ты, товарищ боевой,
Войди сюда сейчас со мною вместе.
Металл. Взрывчатка. Мины. Броневик.
Стволы еще невиданных орудий.
Взгляни сюда, товарищ фронтовик,
В твоих руках грозой все это будет.
Бери отсюда,
Сколько надо, выбирай.
Здесь вложен вклад воюющего тыла,
И ты его на фронте передай,
Чтобы росла и крепла наша сила.

2

Тяжелый грохот канонады
Не умолкает круглый год:
Здесь бронебойные снаряды
Готовит день и ночь завод.
В глухом иркутском переулке —
Участок фронта трудовой.
Прокатный стан рокочет гулко,
Металл трепещет огневой.
Течет, течет поток снарядов.
Стучит бракерский молоток.
И штабеля растут у складов,
Где занят каждый уголок.
Бежит, бежит конвейер точный
Без остановки круглый год
И отмечает сверхурочный
Труда священного поход.

3

Ты думаешь в мартеновских печах
один металл?
Нет, мой товарищ, там кипит могучий
шквал:
Там ненависть моя к врагу,
Там гнев, который я надолго сберегу,

чувства поднимались во мне. Все, что пережил отец-партизан, заново переживала я.

Отец вернулся к нам недавно, и это делало его рассказы особенно яркими, непосредственными. Радость победы побуждала его передавать все в веселом свете. Но даже в таких рассказах всегда удавалось разыскать отца-героя.

Себя отец никогда не называл. Часто он говорил: «Отдали мы приказ, и стали мы наступать». — «Кто, — кричала я, — отдал приказ, ты отдал приказ?» — «Ну я, доча», — весело соглашался отец. В эту минуту я переживала восторг. Мой отец отдал приказ! Он был командиром партизан! Я вела строгий учет всем отцовским подвигам, чтобы на утро снова хвастаться ими в школе.

Отец вернулся из партизан в том же костюме, в котором ушел. В городе рассказывали, что он едва не застрелил на месте кого-то из своего отряда, когда тот взял для себя полушубок из японского эшелона, пущенного партизанами под откос. Отец не принес даже и документов — «бумажек», как он презрительно их называл. Единственной памятью о его боевых годах была папаха — «партизанская папаха», как называли мы; да и ту он принес, вероятно, только потому, что она была у него на голове.

Партизанскую папаху отец очень любил. Верная спутница удалого времени его жизни, она осталась невредимой, ни один волосок не был задет пулей, хотя сам отец был несколько раз ранен. И еще потому отец любил ее, что в таких яманьих папахах сражалась вся знаменитая каратаевская дивизия, куда входил отряд и отца.

Яманий мех! Длинный и жесткий волос, напоминающий таежную хвою, густо ле-

Там ярость за погубленных друзей,
Там слезы девушек, да горе матерей,
Там все мои надежды и любовь,
Там отомщение, там огненная кровь,
Там воля плавится, упорна и тверда,
Закалка эта будет раз и навсегда.
Сейчас такой мы изготовим сплав,

Который, смертью, трижды смерть поправ,
Броней тяжелых танковых полков,
Колючим жалом гвардии штыков,
Ударом дальнобойных батарей,
Эскадрами воздушных кораблей,

Обрушиваясь бурей огневой,
Начнет последний и победный бой,
Чтобы сверкала славою всегда
Звезда Советов — Красная Звезда.

4

Станки напоминают пулеметы,
Без отдыха трансмиссии скользят:
Фронт наступает —
Тылу отставать нельзя!
Вы слышите, гвардейцы-патриоты?
В ответ густая трель сигнала,
Подъемный кран летит, как бомбовоз,
Несет металл сибирского закала
Стальную кипу броневых полос.
Отсюда, по условленному знаку,
Выходят пулеметы и станки
В последнюю, жестокую атаку...
Вы слышите, друзья-большевики?
Когда-нибудь потом расскажут деды
Счастливым поколениям своим,
Как здесь, в тылу —
На подступах победы
Вели мы напряженные бои.

1943

МОИСЕЙ РЫБАКОВ

ТРОЕ

Их вели через город. Падал снег, расплывавшийся в слякоть.
Красноватая глина комками прилипала к ногам.
Эти трое ребят на допросах умели не плакать
И губами разбитыми зло улыбаться врагам.
Им октябрьский снежок набивался за порванный ворот,
Им мигали домишки глазами своих огоньков.
Не добившись ни слова, их вели на расстрел через город,
Окруживши железным колючим кольцом из штыков.
Наслажденьем для них путь на воздухе этот был длинный.

жит поверх ровного слоя пуха. Какая легкая, какая теплая у отца папаха! Меха красивее, лучше яманьего, я не представляла.

Папаха заняла почетное место в нашем доме — на этажерке с книгами, возле кровати отца. Правда, папаха была грязновата. Особенно загрязнилась подкладка. От папахи пахло дымом костров, тайгой, и особенно резко махоркой.

Отец этого не замечал. Каждое утро, собираясь на работу, он говорил мне: «Пойди, доча, принеси мою папаху». — «Партизанскую?» — спрашивала я и, не дожидаясь ответа, вприпрыжку бежала в спальню, — ведь никакой другой папахи в доме не было. Отец принимал ее от меня обеими руками, легонько встряхивал и подходил к зеркалу. Вскинув папаху над головой, он неторопливо и аккуратно натягивал ее на уши.

Но у папахи был враг: мама. Не было случая, когда рассердившись на нас по любому поводу, она не вспоминала бы при этом папаху. Она говорила иногда целыми часами, но все сводилось к одному: что папаха — сплошная грязь и что этого нельзя больше терпеть, нельзя носить такую ветошь, когда вон сколько новых шапок в магазинах. Я в таких случаях молчала, насупившись, или демонстративно затыкала уши. Отец по обыкновению добродушно отмалчивался, чуть виновато улыбаясь. Это молчание еще больше раздражало мать. «Ну, мать...» — говорил отец и потом только крякал иногда от нетерпения...

И вот папаха исчезла. Мы с отцом обшарили этажерку, сундук, я даже слазила под кровать.. Папахи нигде не было. «Куда ты ее положила?» — спросил отец

Ни одна не скатилась на серые лица слеза...
Их поставили в ряд возле кучи отсыревшей глины,
Им солдаты платком завязали молодые глаза.
Под пронзительным ветром трепетали серые шинели.
Над полями тянулась вечерней зари полоса.
— Да живет коммунизм! — упруго и жарко звенели
Молодые, слегка хриповатые их голоса.
И уже стало сердце в предчувствии смерти, как камень,
И в невольном порыве тела подавались вперед.
Пожилой офицер замахал на шеренгу руками:
— Что вы стоите, мерзавцы?.. И грянули залпы вразброд.
И, казалось, скрыл ненависть взгляд, неживой и незрячий.
Завыла непогода еще непробудней и злей.
И казалось, что кровью их алой, кипучей, горячей
Наливалась заря над суровым безбрежьем полей...
И за громом годов не забыть нам расправы кровавой,
Нам ушедшие, эти, как жизнь, дороги и близки.
И, справляя наш праздник, помянем их песней и славой
И на наших врагов боевые поднимем штыки.

МАРК СЕРГЕЕВ

АТАКА

— А атаку! В атаку! — пошли на прорыв
Суровые ели, —
Как будто солдаты сбегают с горы
В зеленых шинелях.
А люди на станции смотрят сны,
Не выставив стражи...
Наверное, мне не уйти от войны
И в мирном пейзаже!

1946

у матери. «Нет больше папахи», — ответила мать и протянула отцу новую шапку — куцую рыженькую короткоушку. Отец удивленно взглянул на мать, не успев еще сообразить, что произошло. Потом лицо его потемнело. «Довольно, не валяй дурака, давай папаху», — сказал он. «Нет папахи! — вдруг крикнула мать, вся вспыхнув от полного невнимания отца к ее подарку. — Я ее сожгла! В печке!»

Мы кинулись к печке, но там усталый огонь лениво догладывал последние головешки.

И отец ушел — без шапки в сорокаградусный мороз.

С тех пор прошло много лет. По какому-то молчаливому соглашению мы никогда о папахе не заговаривали, словно боясь нарушить мир в нашей семье. Я с того утра еще более сблизилась с отцом. Мой интерес ко всем мелочам его партизанской жизни рождал в нем, помимо отцовской любви, чувство, похожее на благодарность.

Отошло детство. Далеко позади осталось то время, когда я смотрела на отца снизу вверх, запрокидывая голову. Теперь я выше его. Но по-прежнему, когда он со мной говорит на лице его появляется добрая улыбка, точно он говорит с ребенком.

Началась война. Отец ходил озабоченный. В глазах у него появился молодой, зоркий блеск. И хотя бои идут за тысячи верст от нашего городка, видно, что он давно наготове. К нам опять, как и в дни моего детства собираются друзья отца — партизаны — веселые, простые и еще крепкие люди. Они много курят, и мать терпеливо смотрит, как крепкий табачный дым оседает на белоснежных занавесях наше-

К. СЕДЫХ

ВОИНСКАЯ ЧЕСТЬ

Памяти сапера-сибиряка Лазарева

В том краю, где ясные озера
От снарядов плещут и кипят,
Окружил отважного сапера
Финских автоматчиков отряд.
Не успел он выхватить гранаты,
Разогнуть мозолистой руки,
Как в упор взглянули автоматы,
Прямо в грудь уперлись тесаки.
Не просил товарищ мой пощады,
И, когда сумели одолеть.
Скрежетал зубами от досады,
Что не мог по-русски умереть.
Закрывалось солнце облаками
И со дна озер вставала муть.
Шел он в плен крутыми берегами
И не смел на белый свет взглянуть.
В камышах туманной котловины
Перешеек узкий меж озер,
И на нем зарыты густо мины,
Сам их здесь закладывал сапер.
По воронке давней от гранаты
Он узнал опасный поворот,
Не уйдут фашисты от расплаты,
Если он с тропинки не свернет.
Не свернул. И не убавил шага.
Шел на гибель верную, на месть
Как велела русская отвага,
Как велела воинская честь.
Пять шагов — и вздрогнули озера.
Пять шагов — и, грозно озарив
Пламенем и славою сапера,
Далеко разнесся этот взрыв.
Навсегда запомним мы с любовью
Тех людей, что родине верны,
Имена свои вписали кровью
В огненную летопись войны.

Карельский фронт, декабрь 1942 год.

го, теперь хорошо обставленного дома. Мать стала еще заботливее к отцу, а на днях обнаружилось, что история партизанской папахи не закончена.

Однажды отец и я сидели за накрытым к обеду столом и терпеливо ждали возвращения матери, изредка перебрасывались шутками насчет ее хлопотливости. Мать все не возвращалась, а порознь мы не обедали. Пришлось пойти во двор разыскивать ее.

Мы нашли ее в нашем дровянике. Она сидела перед раскрытой старой корзиной и плакала. В руках у нее была... папаха, партизанская папаха, уже полузабытая нашей семьей. В сарае резко пахло дровами; на березовых поленницах дрожали солнечные зайчики; широкий рой пылинок, прорезанный косым лучом, вился над папахой, над плачущей матерью — и все это показалось на миг таким знакомым, точно уже было когда-то...

Мы бросились к матери и стали ее успокаивать. Маленькая, еще меньше обычного, она по-детски вытирала лицо руками и уже смеялась над собой сквозь слезы. В папахе ничего не изменилось. Тот же пышный и жесткий волос, тот же, действительно грязный, подклад. Только белели маленькие хлопья нафталина.

И вот мы опять сидим у окна. Сумерки, окно распахнуто, чистая осенняя прохлада широко вливается к нам. Береза, что стоит за окном, изредка кидает на разложенные по столу теплые вещи светлые прощальные листья. Глядя поверх очков на иголку, отец целится ей в ушко. Вот он продернул нитку и подал иглу матери — она подшивает папахе новый подклад из красной байки. Вот сделаны последние стежки, и я подношу папаху к губам, чтобы откусить нитку. Длинные серые иглы кольнули в лицо, как таежная хвоя, и опять пахнуло из глубины меха давно забытым, волнующим. Тоскливо сжалось сердце, точно расстаешься с чем-то близким, родным.

Мать произнесла нерешительно:

— Может, оставим?

Отец взял папаху, тряхнул, как бывало, сказал: «Хороша,» — и, переходя по обыкновению на шутливый тон, добавил:

— Ишь, старая, чего захотела! Нет уж, отдадим, пускай послужит. Верно, до-

В. УРУКОВ

УТРО 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Сиреневое, росное и тихое
Вставало утро в это воскересение.
И солнце рыжехвостою лисихою
На сеновале разлеглось на сене.
Играло солнце.
Щеки щекотало.
Сочилось через сомкнутое веко
И пахло не бензином, не металлом —
Травой и речкой,
Детством человека.
Картофель цвел на жирном огороде.
Полуторка на ферме тарахтела.
Не слышал человек, как куры бродят,
В сухом песке купаясь то и дело.
Как молока звенят тугие струи,
В подойнике жестяном бьются в донце.
Еще здесь пахло дегтем,
Старой сбруей,
Сосновой смолкой,
И опять же — солнцем.
И мягким был кулак под головою,
С него не приподняться, не скатиться.
И плавал недочитанной главою
Отрадный сон,
Где ты паришь, как птица.
Где ты лишен земного притяженья,
Где все — тепло,
Лишь губ ее прохлада...
А мир стоял на берегу крушенья,
В плечо фашистов уперев приклады.
Катилось солнце.
Время торопило.
Сквозь щели кровли лучики сновали,
И золотились пыльные стропила...
Последний сон
На мирном сеновале!..

ча? — неожиданно назвал он меня так, как называл в детстве.

Да, отец ничего не сказал, и за него, пожалуй, скажу я. Я бы так сказала, глядя на папаху из забайкальской партизанской дивизии... Я бы многое сказала, — а закончила бы так:

— Иди, служи белорусскому партизану, грей, береги от пуль его молодую, кудрявую — такую ж, как была у отца, — голову! Счастливая, много славных дел ты увидишь...

1942 год

АЛ. АЛЕКСАНДРОВ

ЗЕМЛЯ

Рассказ

1

С утра колхозники угнали скот. Стада тянулись на восток, а за ними вереницей шли повозки с ребятишками и стариками. Многие мужчины ушли партизанить в леса. Деревня опустела. Раскрытые окна и двери изб прощально смотрели в ту сторону, куда ушли люди.

Дед Архип задержался в деревне один. Он стоял посредине улицы в раздумье и с горечью смотрел на безлюдную деревню, на осиротевшие дворы, и по загорелым, обветренным, морщинистым щекам его сбегали слезы. Было горько оставлять насиженные места, уходить в незнакомые края, где, казалось, и небо должно быть не такое, не такие зеленые березовые рощи, не такая земля.

Архип держал в руках спички. Подпалить свой дом у него не поднималась рука, оставить его немцу и, не оглядываясь, уйти было обидно. Он таил в глубине души надежду, что вернется обратно, и ему не хотелось возвращаться к пепелищу родного дома.

Не думал — не гадал дед Архип, что жизнь его может обернуться наизнанку, что из гроба поднимутся похороненные беднота с нищетой и вновь на старости, согнут его разогнувшуюся спину. Архип знал, что вслед за громом далеких еще фашистских пушек придет в деревню немецкий барин и воскресит все, что умерло двадцать четыре года назад. Будет распоряжаться его добром и добром колхоза, как своим; землю, отданную ему навечно, назовет своей землей. И от мыслей таких потемнело в глазах Архипа, помрачнел ясный день, горько и сухо стало во рту...

— Поджигай, Архип, что стоишь в раздумье. Не оставляй немчуре ничего. Вернешься, и все здесь появится заново: изба твоя будет выстроена просторнее и красивей прежней, деревенская улица принарядится молодыми, буйными садами, и люди, пережившие горе, возьмутся еще дружнее за колхозную работу...

Но Архип стоял, не в силах двинуться с места. Он окинул плачущими глазами свою избу, она словно молила его о пощаде широко раскрытыми ставнями, поблескивающей крышей, отшлифованной дождями и многолетними ветрами. Коробок спичек выпал из рук Архипа. Он наклонился, поднял его, положил в карман и, не оглядываясь, зашагал вдоль улицы походкой грузной и медленной. До него донеслось содрогающее воздух гуденье, от которого по телу пробежали мурашки. Вынырнув из-за леса, низко над деревней пронесся страшным черным вороном немецкий самолет. Дед бросился в сторону, залег в придорожной канаве. Самолет у околицы развернулся и снова пролетел над деревней так низко, что приникшему к земле Архипу показалось — словно он своими крыльями посбивал трубы на избах. Архип лежал не поднимая головы, пока вокруг него не стало тихо, не замолк самолетный рокот за лесом. Поднявшись, Архип увидел, как в нескольких местах задымилась крыша близстоящего дома и несмелые ручейки огня побежали по дереву, сизые струйки дыма и продолговатые языки пламени поднялись кверху и на крышах соседних изб. Архип не сразу сообразил, что произошло так быстро вокруг него, а когда понял, что немец с самолета поджег его деревню, капли холодного пота выступили у него на лбу.

В первую минуту он готов был броситься тушить разгоревшийся пожар, но огонь быстро охватил сухие строения и набирал силу. От сознания своей беспомощности Архип сразу ослабел. Он присел на обочину дороги. На его глазах пламя пожирало дома, в которые он часто захаживал, бывая у своих родных и знакомых.

— Поджег супостат, не пожалел людского добра, зверюга...

В груди Архипа вместе с жалостью к своему дому, который не поднималась подпалить рука, зашевелилось другое, давно забытое им чувство гнева и лютой злобы. Чувство это поднялось в нем мгновенно и казалось, стучало теперь как кровь в жилах. От этого чувства высохли слезы.

Архип встал, окинул взглядом охваченные огнем постройки, еще раз хотел взглянуть на свою избу, но улица была окутана космами густого, смолистого дыма, и в них навсегда исчезли и его изба с широко раскинутыми ставнями, и вместе с нею исчез покой недавней жизни.

— Все, все предать огню, — прошептал Архип, надвинул на голову глубже серую, отлинявшую под солнцем кепку, поправил за спиной мешок и крупно зашагал по дороге.

Сразу же за деревней шумели поля. Тучные колосья в пояс кланялись под легким ветром. Старик зашел на межу с подветренной стороны.

— Урожай-то, урожай какой! Э-эх!

На мгновенье к нему вернулось прежнее чувство жалости, и голос соблазна шепнул: «Как жечь-то такое богатство? Спалишь, вернешься к разбитому корыту».

Архип поднял голову. Над деревней, как грозовая туча, поднялась рыжая пелена, и далекое солнце сквозь дым смотрело на землю красноватым, померкнувшим оком. В безмолвном, небесном пространстве тревожно кружились голуби, поднятые со своих гнездовищ.

— Будь, что будет! Мой судья — совесть моя. Для народа делаю, стало быть, праведное дело...

Архип встал на колени, набрал в горсть колосьев, закрутил и поднес горящую спичку к сухой соломе. Потрескивая и шипя, пучок долго дымился, прежде чем вспыхнуло живое и окрепшее пламя.

— Ну вот, — словно оправдываясь, проговорил старик и виновато снял кепку, помял ее в руках, а потом натянул на голову.

— Видано ли такое дело? Чему быть, того не миновать, — рассудительно добавил он и, захватив новую горсть колосьев, склонил их над пламенем. Когда огоньки лизнули солому, он разжал руку. Горящие колосья рассыпались и засветились на земле, как свечи. Ветер ободрил пламя. Оно поползло по стебелькам вверх, оставляя за собой красные нити. Прошла минута, не более, как пламя запрыгало, вырвавшись на простор, залило поле своей испепеляющей лавой.

Огромное море огня бушевало на колхозном поле. Архип стоял на меже закусив тонкие губы, сжав кулаки; нахмуренные брови его сдвинулись на переносице. Он вытряс из кисета крошки махорки и насыпал туда горсть родной земли. Потом склонил голову и припал сухими, растрескавшимися, дрожащими губами к родному полю.

— Прощай земля! Не поминай лихом, если что злое в жизни сделал, прости старика....

Архип встал, низко поклонился на четыре стороны, обхватил крепко пальцами посох и твердо зашагал на восток.

2

Своих колхозников дед Архип так и не догнал. Расспрашивал беженцев по дорогам, не встречали ли жердовских колхозников в пути, отвечали, проходили такие днем раньше, верст за тридцать впереди будут. И шел Архип пыльными горячими дорогами за повозками таких же, как сам обездоленных людей. Две недели ночевал в лесах. Спал у костров и прежде чем заснуть долго мучился от раздумья и боли. Ломило усталое тело, болели кости, ныли потертые ноги. Вокруг костров сидели старики и говорили о лихомане-разбойнике, согнавшем их с родных мест. Говорили о войне пострашнее прошлой германской, которую они видели, будучи рекрутами.

Разговоры их сердце по кускам разрывали у Архипа. Казалось ему, будто земля ночью не от росы сырая, а от слез малых детей, оставшихся сиротами; не ветер перебирает листья берез, нашептывает в траве, а плачут поруганные женщины; не вечерняя заря алеет на западе, а зарево пожарищ освещает небосвод. Тяжело было Архипу видеть человеческое горе. На всех дорогах, неведомых, бесконечных, запруженных повозками, телегами, лошадьми, коровами, козами, запыленные едкой пылью шли люди с лицами похудевшими и заплаканными.

В бессонные ночи Архип не смыкал глаз. Жизнь его вставала перед ним, как на ладони. Он крепко прижимал рукой кисет, хранимый на груди с горсточкой родной земли, словно в нем была вся его жизнь.

Земля! Земля, которую он любил, которую орошал своим потом, осталась где-то далеко, стала чужой землей. Однажды ночью Архип вспомнил, как прошлый год провожал сына в Сибирь. Тот переселился на новые, необжитые земли. Сын говорил отцу:

— Едем, батя, не упирайся. Земля советская всюду родная будет...

— Тут я родился, тут и помирать буду. Отцы, деды на этой земле жили и мне завещали. Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. Прирос я к этому месту. Здесь и век свой доживать надо.

— Не принуждаю, батя. Потянет, приезжай. Колхознику и на сибирской земле раздолье...

Так и не поехал тогда Архип с сыном в Сибирь. Устрашился далеких, незнакомых земель.

Не спится ночами Архипу. Поднимается, подходит к костру.

— Люди добрые, землю свою родную на груди ношу, чтобы гневом моим про-

питалась, — говорит Архип, — вот она какая, наша земля-то... Он расстегивает рубаху, вытаскивает кисет, развязывает его и показывает землю. Люди у костра берут ее щепотками, разглядывают и бережно возвращают обратно Архипу. Никому из них не кажется странным, что старик в кисете хранит свою землю, несет ее в неведомые, далекие края.

3

Архип не скажет, не сознается самому себе, как его потянуло к сыну. Вспомнил он слова Ефима, что советская земля всюду гостеприимна, и решил до сына добраться, повидать внучат и к отходной готовиться.

Мрачные мысли не покидали Архипа всю дальнюю дорогу. Вот уже два месяца прошло с того дня, как он покинул родную Жердовку. Шел пешком за обозами беженцев, пока сапоги не износились. Потом пристал к эшелону, отходившему в Сибирь. Поезд продвигался медленно. С грустью смотрел Архип на широкие поля, бежавшие вдоль бесконечной железной колеи. Суслоны сжатого хлеба стояли бы теперь и на полях его колхоза. Что-то теперь делается в его деревне.

Однообразно постукивали колеса на стыках, скрежетали крючья сцеплений, лязгали буфера, все эти поездные звуки перепутались с плачем детей и женщин, оставшихся без крова. Он видел их в обозах, они ехали с ним в одном эшелоне — грязные, измученные, бездомные.

— Мам, скоро дом? — тянула девчонка с верхних нар.

— Как приедем, так и будет, — отвечала мать, — замолчи.

У женщины убили мужа, старшую дочь и сына; с грудным ребенком и пятилетней девочкой она убежала из деревни, когда в нее ворвались немецкие танки...

Каждый в вагоне ехал со своим горем. Архип знал: их никто не эвакуировал, они уходили сами, чтобы не оставаться у фашистов. Люди были уверены, что где-то их приютят, окажут помощь, не оставят в нужде. Они жили этой надеждой, и уверенность облегчала несчастье.

«Конечно, примут, как своих, — думал Архип, — советскому человеку изба всегда найдется. Ефим прав, но»... Мысли были тягучие, разноречивые. А за распахнутой дверью теплушки бежала огромная, нескончаемая русская земля.

Моросил мелкий дождь. Суслоны, запорошенные водянистой пылью, казались седыми. Стаи ворон тяжело размахивали крыльями в пасмурном небе. Осинник терял свой лист с каждым утренним заморозком. И чем дальше шел поезд на восток, тем просторнее были равнины, необъятнее поля, леса, неокидываемые человеческим глазом.

Вот они какие сибирские земли! Архип присматривался к ним пристально. На остановках спускался с железнодорожного полотна к леску, выходил к сжатым полям, брал в пригоршню холодную, сырую землю, разминал ее пальцами. Земля, как земля! Была она жирной, черноземной, иногда с бурым перегноем, иногда суглинистая. Хлеба родились сытые, душистые. Старик доставал щепотку из кисета, сравнивал на ладони свою родную землю с чужой сибирской землей и не находил разницы. Но на душе Архипа было по-прежнему смутно.

Осенние дни, свирепые ветры, кружившие желтые листья в воздухе, перешептывающиеся высокие болотные травы и камыши навели грустные думы. Не находил Архип покоя. Когда подступала к нему режущая тоска, прижимал к сердцу свой кисет, и становилось ему легче от этого, словно тоску его впитывала, хранимая на груди горстка земли.

В начале четвертого месяца он добрался до сына. В деревне его встретили как знакомого.

— Шестов Ефим? Проживает на Смоленской улице. Там все смоленские переселенцы. Пятый дом с краю... — сказали ему.

Архип шел по длинной улице сибирской деревни, поражался высокими заборами, тесовыми воротами, окнами с крашеными ставнями. Заборы плотно прижимались друг к другу и тянулись сплошной стеной.

«Нет, у нас деревня краше на вид»,— с этой мыслью Архип дошел до Смоленской улицы. Она была недлинна, застроена новыми, небольшими домиками, похожими один на другой. Чем-то своим пахнуло на Архипа. «Как у нас», — с радостью подумал он и, отсчитав пятый дом с краю, остановился против него. Он оглядел избу со всех сторон, прежде чем подняться на крыльцо. Отворив дверь и переступая порог, Архип спросил:

— Шестовы тут проживают?

— Тятька с мамкой на полевом стане, — ответил русый мальчуган, выглядывая из-за печи.

Архип снял кепку, освободился от мешка и присел на скамейку, стоявшую над порогом.

— Васька, не узнаешь, что ли, совсем сибиряк стал. Вытянулся-то как! Ну здравствуй, сорванец!

Мальчуган смотрел на него шикоро раскрытыми и удивленными глазами, не трогаясь с места.

— Дедка! — вымолвил он, — приехал?

— Кое-как добрался, — протягивая навстречу мальчугану руки, сказал Архип. — Вот без гостинцев только заявился...

А вечером с работы возвратился Ефим с женой.

— Дорогой гость, — обнимая отца говорил Ефим, — надумал. Решился ко мне. Не я ли сказывал, поедем сразу. Горя бы такого не хлебнул.

— Не тронулся бы, Ефим, от земли ежели бы не гитлеряки, — настойчиво произнес Архип и вдруг слезы сами подступили к его глазам. — Жердовку спалили дотла. Рожь сам поджег, чтобы не доставалась немчуре, а землю, землю вот...

Архип засуетился и, расстегнув рубаху, выхватил оттуда залоснившийся кисет.

— Принес сюда. С ней не расстанусь до смерти.

Дрожащими пальцами развязал он шнурок и высыпал землю на стол.

— Вот она, матушка-родная, наша кормилица! Недолго на ней проживут грабители. Горестью и людскими слезами пропиталась она...

Незаметно покатились дни у Архипа под сибирским кровом. Стал свыкаться он понемногу с здешними колхозниками. По утрам выходил на двор и подолгу прислушивался, как звенит замерзшая земля. С первым снегом, который выпал в октябре, принесли Ефиму из сельсовета военкоматскую повестку.

На прощанье передал Архип сыну узелок.

— Земля твоя в нем. На ней ты родился, Ефим, за нее и сражаться уходишь. Это как отцовское благословенье тебе, понял?

Архип притянул к себе сына и трижды поцеловал.

— Теперь ступай, храни ее, родную, на груди. Она силу даст тебе, Ефим.

И унес с собой Ефим Шестов, уходя на фронт, землю в отцовском платке.

4

Побурел лес. С вершин и веток берез слетел снег. Шла сибирская весна. В лесу весело щебетали синицы. Воздух был крепкий, свежий, пьянящий своей бодростью. Выезжая осматривать поля и разносить удобрения, Архип видел, как осевший снег на лесных полянах был испещрен мелкими и беспокойными заячьими следами.

«Должно быть ночью собирались игрища», — думал он и по-молодому радовался каждой весенней примете. Вокруг пахло талыми водами, хотя их еще не было видно. Они журчали где-то под снегом. Шла сибирская весна. Лес не шумел. Он был молчалив, словно тоже прислушивался к весеннему говору в природе.

«Еще недельки полторы, — размышлял Архип, — и начнутся работы на полях». Его назначили бригадиром, и все существо Архипа захватила забота об артельном деле. С этой заботой он ложился спать, с нею просыпался по утрам. Хотелось сделать все, чтобы не уронить хорошей славы в глазах колхозников. Радовала стари-

ка работа на новой земле. А тут письма с фронта от сына пришли. Отлегла горечь от сердца Архипа. Ефим сообщал, что немцев прогнали с жердовской земли.

— Вот и слава богу. Жердовка свободна, опять наша, — говорил Архип, — теперь скоро поправится и заживет по-старому... Ну, а нам пора пахать...

...Пофыркивающий трактор вышел в поле. Трактористка опустила лемеха и включила скорость. Сзади остались жирные, рыхлые, черные борозды. Архип наклонился над первым пластом и ковырнул его палкой.

— Питательная, соков вдоволь имеет.

Он достал кисет с сухой жердовской землей, высыпав ее на ладонь, смешал с влажной сибирской.

— Теперь породнились, сестрами стали. Никуда не уйти и мне от этой судьбы...

1942 год

Г. МАРКОВ

КУЗЯ ТИГР

Рассказ

На проводы его в Красную Армию собралось все село. Просторная изба Ефима Терехина не вместила и половины пришедших проститься с ним. Многие толпились во дворе, стояли у распахнутых настежь окон, сидели на полянке под ветвистой березкой.

Акулина Даниловна — мать Кузи — стояла посредине избы и, обняв сына за плечи, всхлипывая, говорила:

— Ох, Кузя, болит о тебе мое ретивое. Больно уж добрый да смиренный ты у меня. Ну-ка в чем-нибудь оплошаешь?. Какими мы тогда с отцом глазами на людей глядеть станем...

Высокий, сутулый Кузя покорно слушал мать, и сине-голубые, как незабудки, глаза его были устремлены вдаль, туда, где на берегу речки дымилась гончарная мастерская колхоза.

Кузя был тонким мастером своего дела, и все, что выходило из-под его рук, будь то горшки или кувшины, кринки или квашенки, было сработано прочно, опрятно и вызывало похвалу у хозяек во всем районном масштабе.

Недаром, сбившись теперь у дверей в кучку, бабы сокрушенно смотрели на Кузю, и заведующая колхозными яслями Адамчиха, вздыхая, шептала:

— Остались, бабоньки, без мастера! Ох, догляд теперь за посудой нужен. Поприбьем старую, кто нам новую сделает?

Вслед за матерью Кузю обнял отец Ефим Семенович, потом его начали обнимать братья, сестры, дядюшки, тетушки и когда, завершая длинный черед, к нему подошел председатель колхоза, взопревший Кузя тихо сказал:

— Мастерскую тут, Илья Максимович, сберегите.

— Ну, Кузя, не опозорь там колхоз «Красные зори», а он перед тобой в долгу не останется. Приедешь — новый павильон тебе под стеклом выстроим. — И председатель колхозный крепко, как родного, поцеловал Кузю.

С говором, с песнями, со слезами Кузю проводили за поскотину, и с этой минуты мир распахнулся перед ним и началась его новая жизнь.

В дождливые и ветреные дни ноября Кузя прибыл на фронт. Продвижение немцев в это время было уже остановлено и наши части активными контратаками перемалывали живую силу и технику ударных полков и дивизий противника.

Кузя служил в стрелковой роте. Каждый день перед рассветом его рота занимала скрытые в лесочке окопы и вела оттуда обстрел холмика, тянувшегося узким островком с юго-востока на север.

По правде говоря, это дело казалось Кузе скучноватым. Ему хотелось скорее

увидеть живых немцев, столкнуться с ними лицом к лицу, посмотреть своими глазами, что это за чудище, решившее покорить себе весь мир.

Не раз, рискуя своей головой, Кузя поднимался из окопа и, в надежде увидеть живого немца, подолгу глядел на холмик.

Но холмик был безлюден, пуст, и Кузя, не вдаваясь в сложные размышления о всех презратностях войны, наивно думал: «Переводим пули зря — стреляем по голому месту».

Вскоре, однако Кузе повезло. Он увидел живого немца. Случилось это неожиданно. Вместе с товарищем Кузя сидел возле костра, обедал. Смотрит, разведчики из соседней роты ведут пленного немецкого солдата. Кузя отбросил ложку, поднялся, замахал длинными руками. Разведчики были знакомые ребята, земляки, убавили шаг. Кузя подбежал к ним и остановился в страшном недоумении. Немец был совсем не таким, каким представлял его себе Кузя. Он был одет в драную зеленую шинель, в грязную пилотку, в старые разбитые сапоги. Заросшая дурным рыжим волосом голова его была обвязана пестрым шарфом, и весь он, посиневший и худой, дрожал, как бездомный, голодный пес. Это был не храбрый воин, а скорей жалкий бродяга.

Кузя присвистнул и, покачивая головой, сказал:

— Не ошибка ли, земляки? Может, это не солдат, а каторжник? Говорят, что при царе этаких у нас, в Сибири, было полным-полно.

Немец взглянул на Кузю, и белесые оловянные глаза его расширились. В руке Кузя держал большой надкушенный ломоть хлеба.

Глотая слюни, немец отвел глаза в сторону, но не выдержал и вновь посмотрел на хлеб.

Кузино доброе сердце не перенесло этого выразительного просящего взгляда. Ему стало жалко немца, он протянул руку, предлагая тому ломоть. Немец поспешно схватил хлеб и стал жадно есть.

— Смотри-ка ты, мир вздумал покорить! Ах ты, темнота германская! — с усмешкой и с сожалением проговорил Кузя.

С этих пор всегда, когда Кузины сослуживцы по роте говорили о жестокостях немцев, Кузе вспоминался беспомощный, голодный немецкий солдат, и он недоверчиво оглядывал товарищей.

В одну из вьюжных декабрьских ночей кузина рота поднялась из окопов и короткими перебежками по глубокому снегу кинулась к холмику. Вокруг грохотали орудия, и разрывы снарядов вспыхивали в снежном, непроглядном месиве вьюги, как гигантские желтые фонари.

С холмика строчили пулеметы, но весь этот шквал огня не достигал цели. Он ложился на пустующие окопы, а рота приближалась уже к подножию холмика.

Когда до холмика остались считанные метры, командир повел роту в атаку. Немцы не выстояли и побежали. На рассвете рота с ходу ворвалась в деревню. Немцы отстреливались, но стрельба эта была беспорядочной и бесцельной.

Увлеченный общим порывом, Кузя с винтовкой наперевес бежал по широкой улице деревеньки.

То там, то здесь занимались багровые пожары. В стороне, за деревней, не умолкая, грохотали пушки. Мерзлая земля со звоном лопалась от снарядов, и полет ее в небо сопровождался чудовищным свистом.

И вдруг, возвещая о наступлении дня, в старой покосившейся избе полосисто запел уцелевший от немецкого нашествия петух.

В громе орудийной пальбы, в треске винтовочной перестрелки звонкий голос петуха прозвучал как боевой клич.

Заслышав его, Кузя остановился на миг и, улыбаясь сказал пробегавшему мимо красноармейцу:

— Слышишь! Русский горнист трубит победу!

Красноармеец весело взмахнул головой и, вскинув винтовку, свернул в проулок, Кузя побежал по улице дальше.

Когда он поравнялся с большим домом, к которому примыкал высокий, крытый

тесом сарай, в доме послышался крик, потом выстрел и звон разбитого стекла.

Кузя согнулся и вприпрыжку кинулся во двор. Вбежав на крыльцо, он открыл дверь и, не переступая порог, попятился.

На полу, раскинув руки и подогнув голову, лежал человек. В разбитое окно удирал немец.

Кузя видел, как мелькнула его спина, ее худоба, прикрытая грязной зеленой шинелью, напомнила ему солдата, взятого в плен разведчиками соседней роты.

И потому, что этот солдат был похож на того, Кузя замешкался.

Немец воспользовался этим, и когда Кузя бросился к окну, чтоб настигнуть солдата, тот исчез, как сквозь землю.

Кузя с досадой махнул рукой, подошел к человеку, схватил его за плечо и перевернул на спину.

Все лицо человека было в кровавых клочьях, а в простреленном горле булькала еще не остывшая кровь. У босых ног человека валялись изношенные солдатские ботинки. Немец, видимо удирал в теплых валенках, снятых с ног этого человека. Представляя, что недавно произошло здесь, Кузя выпрямился и только теперь увидел, что в доме было много полок и все они были уставлены горшками и кувшинами, чашками необычайно тонкой работы.

Посуда была покрыта прозрачной глазурью и расписана изображениями различных цветов, какие только водятся на всей обширной русской земле.

Кузя невольно потянулся к полкам и привычными движениями пальцев ударил в кромку кувшина.

От щелчка по дому разлился нежный протяжный звук. Так могло звенеть чистое стекло, но чтоб такой звон издавала глина — это было неслыханно.

— Вот это мастер! — с восторгом воскликнул Кузя и взглянул вновь на человека.

Кудрявый черный человек, должно быть знавший бездну непостижимых тайн гончарного дела, любивший все аккуратное, удобное, прочное и красивое, лежал обезображенный немцем. Вероятно, это был настоящий, неутомимый мастер! Его жилистые руки были вымазаны в глине, а обожженные пальцы имели густой бордовый оттенок.

— Подлый! Какого мастера загубил! Такой, может, на всю Россию один был! К такому из самой Сибири на ученье надо было гончаров посылать... — прошептал Кузя.

Ему захотелось зазвать кого-нибудь из красноармейцев и рассказать, как велик был в своем деле этот человек.

Он подошел к окну, чтобы исполнить свое намерение, но вдруг вспомнил, что бой еще не кончился, что каждый красноармеец, пришедший сюда, спросит его, а где же убийца этого знаменитого мастера?.

От этой мысли он почувствовал мучительное угрызение совести.

— Упустил! Из-под носа удрал... — бормотал Кузя. И за то, что когда-то он с недоверием относился к разговорам товарищей о немцах и не выстрелил в убийцу мастера сразу, как открыл дверь, — он возненавидел себя.

«Догнать его! Найти!» — проносилось у него в уме. Он кружил по деревне, заглядывал во все закоулки, но живых немцев тут уже не было.

Бой закончился полной победой наших. Когда рота стянулась в одно место, командир похвалил бойцов за смелые действия в наступлении. Услышав свою фамилию, Кузя смутился. От похвалы боль, порожденная гибелью мастера и собственной оплошностью, не уменьшилась, а стала еще горше.

Кузя вычистил винтовку, поел и вместо того, чтобы отдыхать, направился к командиру роты.

Они говорили долго, и командир хорошо, очень хорошо понял сложные чувства своего бойца Кузи Терехина.

Вечером он сам проводил Кузю за деревню, отвоеванную днем и, крепко пожимая бойцу руку, повторил свои наказы.

Кузя шел не спеша, с тревогой поглядывал на небо, мысленно разговаривал сам с собой: «Выглянет луна или нет? Хоть бы не было ее сегодня, язвы».

Желание его сбылось. Луна не появилась. Наоборот, вскоре в поле поднялась поземка, и ночь стала еще темнее.

Не дойдя с полкилометра до немцев, Кузя снял лыжи, лег на снег и пополз в обход блиндажа.

«Тигр нападает внезапно и обычно тогда, когда его не видят», — вспомнил он фразу, прочитанную в какой-то охотничьей книге.

До блиндажа оставалось уже несколько метров. Часовой, охраняющий блиндаж, был в шубе с поднятым воротником и стоял нахохлившись, как ворона в дождь.

Кузя продвигался по-пластунски, вздымая снежную рыхлую целину. Вскоре он почувствовал под собой бугор. Это был блиндаж. До часового осталось проползти не больше десяти шагов. Кузя приподнял голову, осмотрелся, подумал: «Большого фрица выставили. Этого легко не возьмешь».

Но решимость не покинула Кузю. Бесшумно по-тигриному он подполз к часовому вплоть. Сердце Кузи стучало громко, и ему казалось, что этот стук отзывается в поле эхом.

Когда порыв ветра со свистом взметнул снежное облако и понес его на часового. Кузя вскочил и прыгнул на него сверху.

Часовой подломился под тяжестью Кузиного тела, затрепетал под ним, но крикнуть не успел.

Сильными руками, перемесившими не одну тонну глины, Кузя сжал ему горло, втолкнул тряпку в рот, связал руки и, схватив его винтовку, поволок немца в сторону. Во все это Кузя вложил столько силы, ловкости и умения, что рослый немец, перепуганный неожиданным нападением, был послушен, как ребенок.

* * *

Месяца через два после этой памятной ночи командир кузиной роты получил из колхоза «Красные зори» большое письмо. Писали родители красноармейца Кузьмы Терехина — отец Ефим Семенович и мать Акулина Даниловна. С большой тревогой они сообщали, что их сын еще от рождения был смиренный, добрый, нерасторопный, а гончарная работа, связанная с одиночеством, еще больше углубила эти черты в характере Кузи.

Родители просили как можно скорее отписать им, каков их сын, не хуже ли он других и не нужно ли сделать ему какое-нибудь родительское внушение.

Дальше в письме шли пожелания успехов и сообщения о жизни колхоза.

Командир роты прочитал то письмо, посоветовался с политруком, и они решили, что ответ родителям Кузи напишет коллективно вся рота. И письмо это было написано. Вот оно:

«Дорогие Ефим Семенович и Акулина Даниловна! Ответ на ваше письмо пишет вам вторая стрелковая рота. Сообщаем вам, что сын ваш, наш боец и друг, Кузя Терехин, жив и здоров. Служит Родине он преданно и честно. Характер его тот же. От других он отличается, но только хорошими делами. Оплошностей за ним нет. Он добр к товарищам, но только не к фашистам. Он смирен, но только не в бою, он нерасторопен, но только не на службе. С врагами Кузя бьется зло и беспощадно. Зовется он у нас теперь Кузя Тигр, так как есть он не кто иной, как грозный истребитель немецких оккупантов, создатель своего, «тигриного», метода ловли немецких вояк.

За последнее время Кузя привел 18 «языков», в том числе одного немецкого капитана. Командование части представило его к правительственной награде, с чем вас и поздравляем. Заверяем вас, что будем бить немецких оккупантов до полного их уничтожения».

Командир роты и политрук прочитали ответ бойцов и решили, кроме своих подписей, добавлять к письму им нечего.

1942

БОРИС СТЕПАНОВ

ПОСЛЕ ВОЙНЫ[1]

Повесть

Старший брат Ленька погиб в Польше, Витька — в самой Германии, а я, младший, вернулся осенью сорок четвертого с платиновой вставкой в черепе.

Пролом пришелся выше правой залысины. Они у меня и без того высокие от природы, а правая теперь выглядит совсем безобразно: она ушла до половины черепа, гладкая и блестящая, как у старика.

Меня часто мучают головные боли. Спасаюсь анальгином, пирамидоном, тройчаткой. Странно, что таблетки иногда еще помогают. Правда, головная боль теперь меня не так изнуряет, как в первые годы, — привык.

Хуже другое: в непогоду или, когда сильно понервничаю, в голове начинает сипеть. Сипение точь в точь такое, когда чайник только что закипает.

Мать до самой смерти жила только мною, моим недугом и все искала средство исцелить меня.

Был у нас старый лечебник, на титульном листе которого значилось, что первое его издание организовано по указу Петра Великого.

Каких только настоев я ни перепил — не счесть всех. И чего только мать ни придумывала: то соль прокалит на сковородке и потом ссыплет в мешочек или в носок и приложит к голове, то песок с илом из какого-то очень глубокого колодца, то просто песок, и даже куриный помет. И все приговаривала:

— А давай, Коля, вот это еще попробуем — хуже не будет!

И действительно хуже не было — и лучше тоже.

А напоследок придумала еще одно. Если бы не это, может, еще и пожила...

Как-то окучивали мы с ней картошку за Чулымом. День был теплый. Лег я на нагретую землю, а под затылок, в углубление, угодил мне валун. Он был весь в земле, только гладкая макушка наверху. Да так удобно она пришлась мне, как будто природа специально для меня его отшлифовала. До этого двое суток не спал, а тут голова перестала болеть, и в сон потянуло.

Мать хотела свою кофту подложить мне под голову.

— Не надо,— попросил я,— на этом камне удобно — голова перестала болеть.

— О господи, помоги ты ему! — тихонько воскликнула она.

Проснулся от озноба. Была ночь. Справа от меня теплился костер, а слева, со стороны реки, рядом со мной лежала мать.

— Ну, как, сынок?

— Ох, хорошо, мама. Не помню уж, когда так спал. Ты что же раньше меня не подняла?

Она, не слушая меня, сказала:

— Я тут все уж передумала. Может, камень такой целебный? Домой бы его...

— Глупости,— ответил я, — ведь отпускает иногда, сама знаешь.

---

[1] Печатается в сокращении.

Наступила осень, и пошли дожди. Сильные боли снова свалили меня в постель. Начались бессонные ночи, которым, казалось, нет конца.

То утро было ясное. Окна отпотели. Вдруг за стенкой что-то бухнуло о мерзлую землю. Я вышел во двор.

Около рассохшейся бочки, стоявшей под стоком, с поднятыми сухими плечами сидела мать. Клетчатый платок, свернувшийся в жгут, съехал на шею. От головы валил пар. Поблескивали слипшиеся от пота седые волосы. Увидев меня, она смущенно заулыбалась и скользнула взглядом по мешку, на котором сидела. В мешке было что-то круглое.

— Что это?

И тут же, догадавшись, в чем дело, сказал:

—Ты с ума спятила, что ли?

— Не ругайся, Коля, принесла я тот камень. Может, и правда толк какой будет...

— У тебя же почки больные, угробишь себя! Да и как я на нем?..

— Я все уж придумала,— устало взмахнув изработанной рукой, перебила она. — Там, под подоконником, где плаха одна сильно выгнила, выкопаю ямку, и туда его... Потом кипятком согрею.

—Выдумщица ты, мама, честное слово!

— Испыток не убыток,— сказала она, вставая, но, не успев выпрямиться, ойкнула и вцепилась обеими руками в край бочки.

— Радикулит еще, проклятый, навязался,— силясь улыбнуться, простонала она.

Но я знал, что боль от почек. Ей нельзя было поднимать тяжести.

Зимой мать умерла.

Уж до того тоскливо мне стало после ее смерти, что думал, и до весны не дотяну.

Если бы тетя Шура, соседка по квартире и старая подружка матери, с которой они всю войну работали на кирпичном заводе, не была в отъезде, то я знаю: у меня было бы и чисто, и уютно, как при матери. Она любила нас всех, как родных. Отчасти, наверно, потому, что у нее было тоже трое детей, но все девочки.

Тетя Шура часто говорила моей матери:

— Счастливая ты, Елена, вот три орла у тебя растут, не то что у меня...

И помню, как мать при этом горделиво приосанивалась.

А когда началась война, мать моя нередко с болью восклицала:

— Счастливая Шура: у ней все девчонки!

Любовь, по-видимому, в таких случаях слепа. Поэтому тетя Шура наприписывала нам бог знает чего. У нее даже было твердое мнение, что мы одни из всего околотка не лазали к ней в огород. Это было неправдой. Все мы: Ленька, Витька и я — не раз бывали в ее огороде.

Глядя по ночам на маленькую лампочку, засиженную мухами, которая почти всегда горела вполнакала, я часто думал о себе.

Странную же шутку учудила со мной судьба. Мне все кажется, что я еще не жил. А на самом деле вроде бы ничего уже не остается, как помереть.

Не было восемнадцати — училище. Потом фронт. И вот то, что мне показалось концом моей жизни... Но обошлось. Около года в госпитале. И потом вот здесь, с матерью, с ее неиссякаемым стремлением вылечить меня.

В одну из таких ночей я решил, как только наступит лето, бежать. Надумал поехать в Красноярск, устроиться с выездом на периферию, где поменьше всякой техники, да побольше нетронутой природы и тишины.

Порывался я несколько раз и при матери смотаться куда-нибудь, но где там... Как начнутся причитания и слезы, хоть заживо в могилу полезай.

* * *

В леспромхозе, который находился в глухомани Енисейского района, я проработал радистом немного больше месяца. Понял, что эта работа не для меня и вернулся опять в Красноярск.

Душный вечер... Я, уставший, медленно брел по центральной улице Красноярска. Голову ломило все невыносимее. «Чего доброго, еще засипит»,— подумал я. И снова начинаю искать таблетки во всех карманах брюк и хлопчатобумажной синей куртки. Нахожу только пустые сплюснутые пакетики.

Аптека старая. На крылечке высотою в одну ступеньку в мозаичном исполнении дата строительства: 1888—1889 гг. Я зачем-то старательно перешагиваю через эти цифры. Внутри желтый кафельный пол, устойчивая тишина и прохлада. Я люблю такие аптеки. Иногда только зайдешь в нее, и головная боль ослабевает.

— Девушка, дайте что-нибудь от головной боли.

— К сожалению, ничего нет.

—Нет?!— чуть не вскрикиваю я.— Ну хотя бы пару таблеток найдите!

Она членораздельно повторяет:

— Я вам русским языком говорю: от головы ничего нет!

Временами мне помогает, хоть и на короткое время, даже одно то, что я принял таблетки независимо от чего они. Я иду на это. Тыча пальцем наугад, говорю ей:

— Ну, дайте любых, хотя бы вот этих...

Но тут вспоминаю, что уже вечер и снотворное придется кстати, сказал:

— Нет, дайте лучше снотворного.

— Только по рецептам,— отвечает она.

Я достаю рецепт, замызганный, как старый рубль, подаю ей.

В вестибюле, запрокинув голову, глотаю сразу несколько таблеток.

Б. КРАСНОПОЛЬСКИЙ

Три часа в Сталинграде

Я давно знал, что здесь три города — Царицын, Сталинград и Волгоград. Я также думал, что они, хотя стояли на одном месте, не были простым, механическим продолжением друг друга, каждый имел свое место в истории, свой кусок времени. Естественно, я решил начать с Царицына.

— Что ты, нет у нас Царицына, — сказал мне Ваня Данилов, редактор «Молодого ленинца». — Нет — и все, — он устало улыбнулся и развел руками: — Ничего не осталось. Если уж что-нибудь хочется найти, ступай вот в архив, к Генриху Головкину.

Я не поверил Данилову. Я решил, что у него много дел и ему просто не до меня — был конец рабочего дня, завтра улетать в Москву, а перед Даниловым лежала горка читательских писем. И еще в блокноте у меня уже были мемориальные надписи: «Здесь, в бывшем доме № 4 на привокзальной площади находился в 1917—1918 гг. революционный комитет Царицынского узла Юго-восточной железной дороги». «В этом здании в 1917—1918 гг. находился штаб обороны Царицынского Совета РСК и КД».

Я не обратил внимания на слово «бывший», но потом мне разъяснили, что это не те дома, потому что от «тех», старых, остались только коробки или фундаменты, которые превратили в нынешние дома.

Значит, действительно, Царицына не было.

На улице уже горят фонари, светятся окна, рекламы. Подхожу к киоску, прошу бутылку газировки.

Иду по ярко освещенной улице. Внушаю себе: «О-о, ты смотри-ка, как здорово помогло, боли-то как не бывало! Хорошо!» Твержу это без конца, и потом сам перестаю понимать, действительно ли боль утихла или так мне кажется...

С центральной улицы сворачиваю направо, прохожу больше квартала. Еще немного — и тихий бульвар над Енисеем. Там я еще днем присмотрел скамейку. В гостиницы идти бесполезно: в них никогда нет мест. Правда, в одной можно было бы устроиться, но там после ремонта сильно пахнет краской — очумеешь. К тому же я не переношу жужжания электробритв. Как заверещит, хоть в окно выбрасывайся.

Сложив куртку вчетверо, кладу ее под голову и вытягиваюсь на скамейке во весь рост. Чувствую, как усталость покидает меня. Мне хорошо. Пахнет росистой травой, с Енисея тянет прохладой. Издалека доносятся пароходные гудки.

* * *

В Прибалтике это было, в конце сорок третьего. Я летал на штурмовике. Стрелком последние полгода был у меня Славка Леликов. Везучий парень. Четверым до него не удалось пролетать и по три месяца. Всех четверых я сам помогал отстегивать от ремней и спускать на землю. Все они были длинноногие и симпатичные парни. От последнего, Тольки Миловидова, у меня на комбинезоне долго оставалось бурое пятно во все колено. День ото дня оно зашлифовывалось грязью и маслом, становилось все меньше заметным. Когда я в воздухе смотрел на него, то всякий раз думал: как только пятно исчезнет совсем, так вскоре обязательно хлопнут Славку.

Но не пришлось мне отстегивать Славку: врезались вместе. Его нашли

Я сразу попал в Сталинград.

...Сухая, почти голая равнина. Мертвая земля. Тонкие, редкие стебли колышет ветер, несет между ними мелкий, легкий песок.

Самолеты. Много самолетов. Много черных крестов. Только черные кресты. Самолеты летят спокойно и деловито. Также спокойно и деловито вываливаются из брюха бомбы. Много маленьких черных бомб, похожих на большие патроны.

А на земле рушатся дома. Падают как подкошенные или оседают медленно-медленно, молчаливо и тяжело, как старики. И что-то горит — черный огонь сначала всплескивается в небо, а потом ровной высокой стеной долго стоит на земле...

— Нефтебаза горит, — говорит Коваленко. — 23 августа сорок второго года.

Мы смотрим фильм «Великая битва». С него и начался для меня Сталинград. Вернее, Сталинград встретился уже раньше, минут за десять до фильма. Я и Толя Володин, художник из Ульяновска, мой товарищ по семинару, опаздывали, и Коваленко, директор Волгоградского книготорга, довез нас на своем «Запорожце». По дороге мы узнали, что Коваленко был здесь комбатом, а когда вышли из машины — увидели, что он хромает и опирается на палку...

А сейчас Коваленко сидит и скупо комментирует.

— Зайцев. Снайпер. Триста немцев взял.

— Чуйков... 62-я... Прижали к берегу... Людников....

— Родимцев... Хороший командир. Толковый...

Коваленко все знает — это его город — и он несколько раз смотрел «Великую битву».

далеко от самолета без головы — я остался в живых. Да только не знаю, кому из нас больше повезло...

С ним меня сбивали дважды, но все обошлось — остались без единой царапины. Первый раз покинули горящую машину. Во-второй—уже над самым аэродромом заклинило мотор. Был пробит масляный радиатор. Чуть не задохнулись от копоти. Посадку делал почти вслепую...

И вот наш последний вылет. Дня за три до него я частенько слышал в столовой, как ребята с тяжелых бомбардировщиков ругаются, поминая какой-то остров, с которым ничего не могут поделать, вылетая туда по нескольку раз в день. Потом — бац!—приказ, и нам, штурмовикам, действовать вместе с бомбардировщиками.

Остров был крохотный. На больших картах он точкой обозначался. Но этот безымянный островишко обладал дикой огневой мощью, перекрывая ею сорокамильное расстояние до мелководья в сторону берега и примерно такое же в открытое море, а там, дальше, покачивались на волнах сторожевики и шныряли торпедные катера. С большими потерями прорывались наши корабли через этот заслон. Были предположения, что на острове все механизировано, и огневые точки закрываются раздвижными скалами.

Еще не совсем рассвело, когда мы поднялись в воздух. Не знал я, что это мой последний вылет. Правда, вначале, как помнится, настроение было дрянное. Прямо в машину не хотелось садиться. Но я отнес это к тому, что зимой всегда после теплой землянки с неохотой лезешь в настывшую за ночь кабину. И пока она не прогреется, чувствуешь себя скованно и неуютно.

Вскоре стало тепло. Стекла приборов отпотели. А настроение у меня не поднималось. Лететь совсем не хотелось — штурвал валился из рук.

Вдруг Славка дал очередь. Запахло дымом.

— Ты бы не коптил прежде времени,— сказал я, прижав ларингофоны.

— Надо же проверить: козла-то ты славного заделал при взлете.

Вспоминаю, что взлетел действительно как-то нехорошо.

Но и сейчас он вглядывается в каждый кадр внимательно и напряженно, и глаза у него широко открыты, как у ребенка...

В школе нам говорили: «Настоящую книгу можно читать несколько раз. Молодым, зрелым, старым. И каждый раз по-новому, открывая что-то незамеченное».

Я смотрю на Коваленко и думаю, что это правильно не только для печатных книг. Это правильно и для личных записных книжек. Коваленко листает сейчас свою записную книжку. И не просто переживает все заново. Может, растет затаенная гордость? Или молчаливое удивление — как это выстояли? А может, лишь укрепляется сознание силы своей и товарищей, для которых этот подвиг тогда был таким же естественным, как для нас — Братск и Абакан—Тайшет? Ведь удивление остается на долю тех, кто не дерется. И еще — на долю сыновей и зрителей...

Снова кадры. Вот универмаг. Здесь сдался в плен фельдмаршал Паулюс. Он сказал: «Гитлер дал мне звание фельдмаршала, чтобы я застрелился. Но я не доставлю ему этого удовольствия». А потом попросил не везти его по дороге, где шли под конвоем его бывшие солдаты.

И вдруг я увидел, что пленные немцы... улыбаются. Они шли в плен и... улыбались, повернув лица к киноаппаратам. Почему? Неужели еще верят в победу?

— Рады, — говорит Коваленко, — рады, что уцелели...

...А потом мы молча сели в автобус и поехали к берегу. Там, на берегу, стоял памятник летчику комдиву Хользунову, единственный уцелевший в Сталинграде памятник. «Комдив Хользунов дрался в Испании,

Идем над морем. Вглядываюсь вперед и вижу тот остров, одинокий и жалкий среди бушующего зимнего моря. Сверяю с картой — да, он!

Смотрю по сторонам. Оба моих ведомых идут молодцами, выдерживая нужную дистанцию. Машу левому рукой и киваю вперед. Тот, сразу все поняв, поднимает руку и опускает. Машу правому раз, другой — не видит: вытянув голову наверняка дальше штурвала, напряженно глядит вперед так, как будто уже пикирует на остров.

У Володи Брилева это был третий боевой вылет. Летал он, в общем, грамотно, по всем правилам. Без правил еще не научился. Раз, два влепят по заднице — научится.

— Семнадцатый! — кричу я ему.

— Семнадцатый слушает! — мгновенно отвечает он.

— Слишком напряженно держишь себя, расслабься! — советую я.

Слышу фон включенного передатчика и дыхание Брилева, потом его голос:

— Есть расслабиться!

— На цель пойдешь за мной! — говорю я.

— Есть следовать за вами!

Я подбадривающе потряс ему рукой. Вижу: кажется, улыбается, кивает головой и делает что-то вроде чести.

Тройка тяжелых сходу пошла на бомбометание. Всего их 12, все они должны сделать по два захода: цель слишком мала. Нас 9—разгрузимся сразу...

Пока работали бомбардировщики, мы описали большой круг над морем и перестроились. Командир эскадрильи со своей тройкой теперь был впереди — я сзади. Смотрю, как пошли штурмовики.

Остров затянут дымом. Над ним стоят просвечиваемые взошедшим солнцем столбы коричневатой каменной пыли. Вокруг ледяными свечами взметываются фонтаны воды. Из-за дыма и пыли с моей высоты временами не видно очертаний острова. Пока штурмовики идут над водой, я их временами не вижу: теряются на фоне штормующего моря. Хо-

---

погиб еще до войны, недалеко от Москвы, при выполнении особого задания», — так коротко пояснила нам Тамара, серьезная и обстоятельная девушка, наш экскурсовод.

Удивителен этот памятник. Готовый к вылету комдив стоит перед строем, объясняет боевое задание. В левой руке у него планшет с планом, правой он решительно указывает в землю: «вогнать туда противника!» Никакого парадного пафоса, деловитая и сознательная сила, собранная в его жесте, настолько велика, что веришь — противник будет в земле! Недаром бронзовый Хользунов выстоял и победил вместе с защитниками города...

— К мельнице, — говорит Тамара водителю.

Мельница стоит посреди цветущего красивого сквера. Это четырехэтажная, красного кирпича развалина-коробка, вместо крыши — коричневые, ржавые железные балки, от лестничных пролетов остались одни скелеты, на которых еще кое-где висят, готовые рухнуть куски ступеней...

Многие из нас видели развалины. Еще шла война, я приехал в Киев, там стояли сплошные черные (работа команд поджигателей) коробки, где замерзшие согнутые пленные немцы выбирали целые кирпичи. И на первый взгляд мельница ничем особым не отличалась. Но, приглядевшись, мы заметили, что окна у нее — круглые. Нет, это была не прихоть архитектора, это было изделие войны. Раньше они были обыкновенными, квадратными окнами, в дни битвы стали амбразурами, куда немцы направляли весь свой огонь, прижимая наших к Волге. Бомбы, снаряды и пули выбили кирпичи, сделали окна круглыми, но из мельницы никто не ушел...

тя я внимательно слежу за ними, но над островом они проскакивают всякий раз как-то неожиданно, словно выскочив из волны.

Я выровнял машину, завалил нос вниз и пошел на безмолвную цель.

Остров, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, стремительно падал на меня.

Открываю люки и одновременно даю из пушек короткую очередь. Это уже так для форсу. Пике было неглубокое. Легко выхожу из него и чувствую ту характерную вибрацию машины, когда Славка бьет из своего пулемета. Одна короткая очередь — и замолкает. В наушниках раздается его голос:

— Вот так это делается! — произносит он таким тоном, словно из своей брызгалки разнес в дым и прах весь остров.

Знаю, что шутит, улыбаюсь, но ничего не отвечаю.

От своих оторвались порядком. Тяжелых вместе с истребителями не видно совсем. Но я знаю, что первая группа «яков», которые сопровождали нас сюда, давно ушла на заправку и скоро должны вернуться к нам.

Построились, набираем высоту и спокойно идем домой.

— Спать хочется, — говорит Славка. — Мы еще сюда пойдем? —спрашивает он, зевая.

Я, тоже невольно зевнув, говорю:

— Ну зачем же? Ты ведь, кажется, из своей гаубицы влепил как следует — что тут нам теперь делать?

— Хы-ы,— выдохнул Славка и замолк. Потом дружески-издевательским тоном произносит: — Командир, разрешите я вам спою?

Я уже знал, что сейчас он затянет: «Бьется в тесной печурке огонь». Славка был на редкость безголосым. И в воздухе пользуясь, что его не достану, частенько издевался надо мной.

Я беззлобно послал его на «икс».

Немного помолчав, Славка с деланным вздохом произнес:

— А вот дом сержанта Павлова, — говорит Тамара.

Дом Павлова стоит напротив мельницы, это обыкновенный дом, в нем живут, на днях кончился капитальный ремонт. (Потом я спрашивал, почему не оставили его в прежнем виде. Кто-то ответил: «Ведь он выходит на площадь»).

От дома Павлова до мельницы — метров сто. Эти сто метров санинструктор Калинин, доставляя павловское донесение, шел за два дня и так не смог пройти, вернулся раненый обратно (в 42-м все сталинградские метры были такими адски трудными). Но через день Калинин все-таки доставил донесение...

— Да, — задумчиво, словно про себя, произносит Тамара, — теперь трудно это представить — какие-то сто метров...

Памятник-обелиск павшим борцам Царицына-Сталинграда. Вечный огонь. Каждые полчаса звучит траурная мелодия, сменяется почетный караул — лучшие школьники — пионеры и комсомольцы стоят не шелохнувшись, прижимая к груди старые сталинградские автоматы...

Немного дальше по аллее — бюст дважды Героя Советского Союза летчика Василия Сергеевича Ефремова.

— Недавно приезжал,— говорит Тамара, — пришел к своему бюсту, стоял, слушал, что о нем экскурсовод рассказывает, тихо, незаметно ушел. А я смотрю, какой-то очень знакомый человек, а кто — никак не вспомню. И еще интересно, — добавляет Тамара, — Ефремов прошел две войны — финскую и всю Отечественную, много раз бывал подбит, выбрасывался из горящего самолета — и ни одной царапины!

Мы садимся в автобус. «Бывают же лю-

— Нехорошо, командир, честное слово, нехорошо: на такой высоте, почти рядом с богом и....

Я молча улыбаюсь. Помолчав с минуту, Славка все-таки запевает:

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза...

На последних словах он такого петуха пустил, святых выноси.

И вдруг вижу, из-за небольшого облачка, словно они до поры до времени подвешаны там на крючочках, наперерез нам выскакивает пятерка «мессеров».

— Смотри сюда! — обрываю я песню.

— Да-а-а! — через некоторое время растянуто произносит он. И скороговоркой: — Слушай, Коля, ты не знаешь температуру воды?..

— Хватит! — обрываю я.

Беру штурвал на себя, приказываю своим уходить на полных. «Земле» докладываю обстановку. Оттуда сообщают, что истребители двадцать две минуты как в воздухе. Командир эскадрильи разрешает мне придержаться, чтобы взять на себя хотя бы одного-двух «мессеров».

Круто набирая высоту, еще раз прикидываю, успеют ли мои проскочить, и ничего не могу понять. Все пять «мессеров» вроде бы намерены идти за ними. Начинаю нервничать: неужели они не видят меня?

И наконец, один отрывается от группы. Не может быть, чтоб один. Только успел подумать, вижу, как круто отвалил второй и пристроился в хвост ведущему. Почти вертикально оба немца устремились в набор высоты. Легкие машины с четко вырисовывающимися крестами вскоре оказались на моем уровне и пошли выше. Ни в сторону, ни назад поворачивать мне не было смысла. Они отлично понимали это и ждали, пока я окажусь под ними.

Вот «мессеры» как бы чуть зависли. Оба легли на левые плоскости, готовясь свалиться мне в хвост. Удобный момент, но расстояние...

Я все-таки пробую: задираю нос, слегка заваливаю машину вправо и по первому бью из пушек. Казалось, впустую. Он выровнялся, пошел по пря-

---

ди, — размышляет рядом со мной пожилой осетин в очках. — Так, ни любовь их не трогает, ни война. Не жизнь, а легкая прогулка». Он материалист и забывает, что существует и у летчиков-штурмовиков такая нежная штука — душа, и на ней не сосчитаешь ни ран, ни царапин...

По дороге к Мамаеву кургану проезжаем мост через реку Царицу. Под мостом — коробка мельницы, такая же, как мы видели. «На ней работал Максим Горький, — говорит Тамара, — скоро ее снесут, будут приводить речку в порядок.

Над обрывом — длинный, узкий, как стрела, постамент. На вершине его — фигура чекиста. Это памятник десятой дивизии НКВД. Когда наши дрались в степях, немцы обошли Сталинград и достигли Волги. В городе не было ни одного солдата, чекисты несли патрульную службу. И они вышли навстречу немцам, заняв фронт в пятьдесят километров.

В дивизии было тринадцать тысяч человек. К концу битвы осталось сто девяносто. Вот почему на берегу Царицы, над обрывом, стоит высокий памятник...

...Главная высота России — Мамаев курган. Невысокий холм — метров сто — господствующий над городом. Площадь — всего несколько гектаров. На каждый квадратный метр пришлось тысяча двести осколков. После войны здесь было обезврежено сорок тысяч авиабомб, снарядов и мин...

— Как налет — так думаешь — крышка! А потом — отряхнешь землю, подымешь голову, кричишь: «Колька, Василий, эй!» Смотришь — хоть половина да цела. И снова за автоматы...

Это рассказывает Хамиди, журналист из

мой, потом резко клюнул носом, некрасиво свалился в пике, перешел в штопор и тут только задымил.

Славка не выдерживает:

— Коля, возьми пирожок с полочки!

Я улыбаюсь, но молчу.

Второй уже зашел нам в хвост. Славка полоснул по нему длинной очередью. Немец опытен. Мгновенно сел ниже нас так, чтобы его не достал пулемет. Слышу, Славка шумно набрал воздух, хочет крикнуть, но я уже догадался ,что ему надо. Резко беру штурвал на себя — нос машины прыгнул вверх, и Славка заработал снова...

«Мессер» нырнул нам под пузо и круто вывернул вправо, чтобы не попасть под нижние пулеметы и под пушки. Набрал высоту и опять, мастерски пристроился сзади, как раз под таким углом, что, если бы Славка и достал его, то прежде всего снес бы себе хвостовое оперение.

Я лихорадочно перебрасываю взгляд с одной плоскости на другую. И вот по правой пошла четкая, как от швейной машины, строчка.

Я сразу — штурвал на себя и чувствую, как Славка длинно врезает по «мессеру». Тот опять уходит под нас, взмывает и занимает прежнюю позицию.

Вверху еле слышно прошелестело. Вскинул взгляд: фонарь весь изрешечен. В лицо ударили холодные струи воздуха. Несколько матовых кусочков плексигласа задержались на моих коленях.

Рывком беру штурвал на себя и таким же сильным рывком от себя. Потом ударяю со всей силы по правой педали, затем — по левой. Машину бросает из стороны в сторону как лодчонку в море. И вдруг вижу: из мотора показался дым. Затем выползли плоские языки пламени. Они быстро удлинялись, облизывая закопченную броню. Кабина вмиг наполнилась чадом. В наушниках раздался хрип.

— Слава, Слава! — кричу я отплевываясь. И слышу только клокочущий хрип.

Мне обожгло левую руку. Унт стал наполняться кровью.

В это время надо мной прометнулись две пары «яков». До берега осталось пустяки, но в моторе начало падать давление масла. Машину тянуло в

Казани, живой седеющий человек со шрамом на виске.

Сейчас Мамаев курган — памятник. У подножья — стены скорби — траурная процессия людей в граните. От нее идет лестница, обсаженная тополями, — они скрывают современный город, и видишь только курган. Кончается лестница — и выходишь к двум огромным стенам из железобетона — это стены сталинградских домов с выбоинами, силуэтами, надписями. Вот барельеф снайпера Зайцева и его слова: «За Волгой для нас земли нет!» Вот инструкция командарма Чуйкова штурмовым отрядам. Вот выписка из протокола комсомольского собрания, которое проходило у подножья кургана: «Существует ли уважительная причина ухода с огневой позиции?» — «Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть!»...

А на вершине кургана — гигантская фигура Родины-матери, обратившейся лицом к врагу и поднявшей против него сверкающий меч. Общая высота фигуры — восемьдесят метров, она видна из разных концов города.

Да, впечатляющий памятник воздвигнут на холме. Автор невиданного памятника — скульптор Вучетич, в городе его хорошо знают, многие называют как старого знакомого — Евгений Викторович.

...Медленно спускаюсь вниз по тополевой аллее и вдруг вспоминаю яркий, желтый

море. Ложась грудью на штурвал, я вцепился взглядом в спасительный срез берега: там дальше, не равнина, но можно...

Не дотянуть! Закрываю глаза. Удар. Скрежет. Отрываюсь вместе с сидением и куда-то лечу...

Очухался в госпитале. До этого временами приходил в себя, но, не успев понять, где я, снова терял сознание.

В первые дни даже моргать было больно. А стоило шевельнуть головой, как тут же в обе макушки (в детстве говорили: буду счастливым) вонзались длинные иглы. Я видел их и чувствовал тяжесть рук, которые вдавливали иголки под углом, чтобы концы их встретились в мозжечке. Когда они встречались там и начинался скрежет, я терял сознание.

В бреду, говорят, просил прощения у какой-то женщины, поминал братьев, дедушку, требовал меду.

* * *

Дед наш был пасечником. Пацанами, мы втроем каждое лето приезжали в деревню на каникулы. В первый же день всей гурьбой отправлялись на пасеку. Она находилась среди березового леса, поросшего густыми травами, пахучими цветами и кустарником.

Ульи стояли на большой поляне, половина которой была засеяна гречихой. В июле гречиха всегда сильно цвела.

Бежали мы сюда босиком, наперегонки — кто первый...

А дни те были, как помнится, все солнечные, с высоким голубым небом. Дедушка рассаживал нас под березами за длинный стол, пахнущий медом, желтый, как соты. Жужжали пчелы, по стволам берез ползали муравьи.

Мы болтали ногами под высокой лавкой и ждали...

Дедушка гладил нас по белобрысым головам своей шершавой рукой. Я всякий раз чувствовал, как мои тонкие волосы цеплялись за шероховатости на его ладони.

Дед был некурящий и непьющий, потому с пчелами состоял в большой дружбе. На пасеке он всегда бывал в чистой холщовой рубахе. И никогда я

солнечный день и лес в Ирпени под Киевом. Была осень, и я брел по листьям. Встретил маленький, осыпавшийся окопчик. Спрыгнул в него. Что-то блеснуло в листьях. Разгреб их — увидел длинный патрон, патрон от мосинской винтовки. Поднял его, сел на покатый бруствер окопчика и стал медленно рассматривать патрон. Потом осторожно обтер его платком и увидел несколько царапин. Они яростно блестели на солнце. Я положил патрон в карман и, шевеля листья на дне окопа, стал думать, как все тогда было...

Я вышел на улицу — широкую гладкую асфальтированную улицу, по которой мчались троллейбусы, автомобили, звенели трамваи. Невдалеке стояли новые корпуса завода «Красный Октябрь», а на площадке высились груды металлолома. Я был в Волгограде.

И все-таки простой патрон нужен не меньше, чем обелиск. Как живой свидетель. Как живой участник. Как живая память...

* * *

Это была экскурсия — три часа в Сталинграде. Три часа в прошлом, без которого не было бы той земли, что ценней, значительней и многообразней слов. Три часа истории, которая начиналась в Царицыне и на которой стоит зеленый Волгоград.

не видел его без работы. Если с пчелами полная управа, то он делал из бересты туески, строгал ложки, долбил новые деревянные чашки. Нам же мед наливал в старые, края у которых просвечивали, как будто они были сделаны из смолистой сосны. Ложки были тоже насквозь пропитаны медом. Если дедушка долго задерживался в погребе, мы от нетерпения помаленьку откусывали их края. Дед за это ругался. Особенно часто влетало мне.

Кроме чашек меда с кусками сот, на столе всегда стоял полуведерный котелок с ключевой водой. Когда казалось, что больше и пол-ложки не проглотишь, — выпьешь холодной воды, от которой ломит зубы, и потом снова мед и соты, пропитанные им...

В палате, я лежал один. Сестры и няни появлялись настолько бесшумно, что я пугался...

Когда на моей голове вместо «арабской чалмы» появилась легкая повязка, гипс с обеих ключиц был снят, правая нога уже гнулась вовсю, простреда икры левой как не бывало, с хирургом, который залатал мне черепок, состоялся разговор.

— Летать собираетесь? — спросил Олег Николаевич, беря мою руку, чтобы проверить пульс.

— Обязательно! — ответил я.— Только не знаю, смогу ли?

И затаил дыхание в ожидании, что он скажет.

— Сердце, какое сердце! Прямо-таки бери и ставь на любой самолет вместо мотора! — воскликнул хирург.

Я знал, что умные врачи любят подхвалить организм больного, улыбнулся и ожидающе посмотрел на него.

Олег Николаевич положил левую руку мне на грудь, а правой легонько сжал выше лба и спросил:

— Больно?

— Немного, — ответил я.

— Это хорошо, что немного, подхватил он и через плечо бросил сестре:— Запишите: прогулки по палате пока 5—10 минут, не больше!

— Доктор, вы мне не ответили на вопрос.

— А-а, летать будете, будете, — как бы спохватившись, скороговоркой произнес он, — но полежать придется.

— Сколько? — спросил я, будто не замечая его неумелой игры.

Мы встретились взглядами, и я заметил, как он чуточку смутился. Но потом его глаза обрели деловую сосредоточенность, а затем они стали просто веселыми. Олег Николаевич склонился к моему уху и шепотом спросил. Я смущенно улыбнулся и отрицательно помотал головой.

— Тогда вопрос остается открытым, — сказал он.

Олег Николаевич спрашивал, снятся ли мне нагие женщины.

Я сразу же вспомнил Настю-озорницу, деревенскую молодую женщину, у которой талия была настолько тонкая, что, говорят, она наматывала на нее по три полотенца, чтобы быть похожей на других баб.

Настя была моей первой женщиной.

В непогоду, когда нам приходилось подолгу отсиживаться в землянках, все ребята наперебой яростно врали, делясь своим «рыцарским» прошлым. Из рассказов выходило, несмотря на наш возраст,— некоторым не было и двадцати—мы все, оказывается, если не Дон-Жуаны, то уж наверняка приличные ловеласы. Пользуясь тем, что в землянке всегда полумрак, рассказывал и я несколько раз свою историю с Настей-озорницей, тоже приукрашенную до-

нельзя, где я выглядел героем, настоящим мужчиной. А на самом деле, как вспомню, так и краснею сам перед собой.

Кажется, в апреле сорок второго кто-то из нашего или из десятого «б» бросил клич: «Ребята, на фронт!» В этот же день, вырывая листки из тетрадей, почти все поголовно написали заявление. Не взяли только меня, двух из десятого «б» — мы занимались в аэроклубе—да тех, у кого здоровье подкачало.

Как сейчас помню, 18 июля, за месяц до моего дня рождения, я проснулся от всхлипываний матери. Почуяв недоброе, вскочил, как подброшенный, и увидел на столе листок. Сердце екнуло: похоронная о Леньке или Витьке! Нет, это была повестка. Да здравствует летное училище! В запасе три дня.

Вечером говорю матери:

— А что если я на денек съезжу в деревню? Дед с бабкой рады будут. Да и нехорошо: Ленька с Витькой уехали не попрощавшись.

Она согласилась, но тут же шмыгнула на кухню, и я услышал ее тяжелые вздохи и всхлипывания.

На разбитой полуторке, в радиатор которой из каждого ручья приходилось доливать воду, за полдня добрались до деревни.

Дед с бабкой не знали, куда усадить, чем накормить.

Пообедав, я забрался на чердак. Три удилища — два старших братьев, третье мое, с лесками и крючками — лежали на том же месте, где я их оставил в прошлом году.

День знойный. Босой выхожу в огород. На ходу срываю несколько огурцов, теплых от солнца. Перелез через изгородь. Прошел по высокой траве, пересекая другой огород, в котором до революции дед всегда ставил три-четыре копны хорошего сена, а позднее много лет пахал под картошку. И вот только последних три года здесь косит сено. Сегодня за обедом он говорил, что нынче осенью опять вспашет...

Иду мимо фермы. Весь скот на выгоне. Там тишина. От фермы сворачиваю направо по тропе, которая ведет к речке. Тропа ныряет в густой ивняк. Вхожу как в аллею. Прохладно. В лучах, пробивающихся через листву, поблескивают паутины, сотканные кругами. «Как мишени»,— подумал я и вспомнил, что идет война. Они цепляются за волосы, липнут к ресницам. Морщась, снимаю их. Вскоре оказываюсь на обрывистом берегу. Здесь большая поляна с васильками, ромашками и цветущим шиповником. Бархатистые с темно-коричневыми полосами шмели тяжело перелетают с цветка на цветок. В небе скользят стрижи. Изредка делая полукруг над поляной, они взмывают над солнечным лесом.

Я спрыгиваю с обрыва на песчаные комья и оглядываюсь. Как и прежде, весь берег в отверстиях гнезд стрижей.

Около воды снимаю брюки поочередно, балансируя то на одной, то на другой ноге. Забредаю в воду. Через эту быстрину когда-то братья меня переводили за руку.

На той стороне пологая, входящая мысом в реку отмель хорошо перемытого песка. За ней темные ели.

Речка, заворачивая за косу, образует тихую заводь. В ней всегда плавают засохшие листья, кусочки коры, а по вечерам скапливается пена. Там хорошо клюют ельцы.

Дойдя до середины речки, останавливаюсь и смотрю на дно. Мои ноги сквозь слой воды кажутся непомерно громадными и смешными. Различаю среди пестрой гальки и больших камней, на которых полощутся зеленые лохмотья тины, шныряющих пескарей.

Выбредаю на косу. Песок почти белый, и поэтому кажется, как будто солнце начало светить во много раз сильнее.

Бросаю удилище и снимаю майку. Подбоченившись, оглядываю свою костлявую грудь — она мне не нравится. Потом валюсь спиной на горячий песок. Раскинув руки и ноги, лежу с закрытыми глазами. Веки просвечивают, отчего мне кажется, словно я смотрю на багряный закат.

Опять вспоминаю, что идет война и что Витька с Ленькой где-то там. Живы ли?

Вскоре становится невыносимо жарко. Провожу ладонью по лбу и смотрю на нее: она мокрая, будто я коснулся ею воды. Встаю и лениво тащусь к реке. Зайдя в воду по щиколотки, раздумываю: тут на быстрине не проплывешь: мелко. Пойти вот туда, за поворот, в улово. Там в одном месте мне по подбородок и дно песчаное. Делаю шаг назад, но вспоминаю, что там намеревался поудить ельцов.

Забредаю на середину быстрины и становлюсь спиной к течению. Приседаю, окунаясь по шею. Вода кажется только чуть прохладной. Она упруго облегает тело.

Солнце спустилось за горизонт, лес вокруг потемнел, песок стал стынуть, по речке поплыли клочья пены, а мне все не хотелось уходить отсюда. Потом вижу, делать нечего — пора...

Домой пришел в сумерки. Обеспокоенная бабушка встретила меня во дворе тревожным возгласом:

— Да ты где это пропадал? Ночь на дворе, а его все нет и нет! Уж все передумала... Да и суббота сегодня! Ай, забыл, что баня? Давай быстренько иди мойся, пока совсем не простыла.

— Что-то неохота: день в воде — и опять в воду,— говорю я.

— Иди, иди,— настаивает она, принимая от меня рыбу.— На машине ведь ехал — небось, полная башка пыли...

Она вынесла мне белье и полотенце. Мочалка и мыло, как всегда, в бане на оконце...

Захожу в огород и иду мимо гряд. За голые щиколотки цепляются слегка колющиеся огуречные плети.

Баню топят, кроме нас, еще пятеро соседей — по очереди. Бабушке приходится возиться с ней раз в полтора месяца.

Низко сгибаясь, вхожу в прокопченную, пахнущую дымом, распаренными вениками и сыростью баню. Сначала ничего не вижу, кроме грязно-матового оконца, через которое слабо пробивается лунный свет. Спички отсырели — коптилку зажигаю только с третьей. Лью полный черпак горячей воды на каменку. Почти остывшая, она вначале не шипит, но когда вода проникает до нижних камней, над каменкой поднимаются клубы пара. Начинаю мыться...

Вдруг за дверью раздается хруст и шорох. Прислушиваюсь. Может быть, бабушка пришла узнать, хватит ли мне воды? Но почему же тогда она молчит? Прислушиваюсь еще. Тихо. Наверное, показалось... Посмотрел на окно и, вздрогнув, заметил, как от него кто-то отпрянул. В голове промелькнули всякие деревенские россказни о чертях и дьяволах, прячущихся под полками. Вскакиваю и кричу сдавленным голосом:

— Кто там?

— Давай мойся попроворней! — слышу в ответ и узнаю голос соседки Насти-озорницы.

Добавку к имени она получила неспроста. В деревнях зря прозвищ не дают. В девках еще она наравне с парнями объезжала молодых коней. Да быстрее, чем парень или мужик. Бывало, как выскочит за деревню — и пошел, только пыль столбом. Вся деревня, охая, причитает: «Вот оторва, вот горюшко-то кому-то достанется!» А вернется в деревню, конь уже и повода слушается, и не лезет с вытаращенными глазами куда попало.

Вот с замужеством у нее получился конфуз. Наутро после свадьбы ворота ее отца дегтем вымазали. Настя в тот же день отыскала тех дружков, да так отходила их стегом, что, говорят, разбегаясь, они перепрыгивали через изгороди, хотя и ровесниками ей приходились.

Может, тут что и прибавлено — люди любят приукрасить. Я не был свидетелем. Да только обезъязычала с тех пор деревня насчет вымазанных ворот. В закутках, конечно, и злословили, а на людях — ни-ни! Все от мала до велика знали: с Настей лучше не связываться; одно слово — жеребцов объезжает!...

Как ни старалась она, да все равно обошло ее бабье счастье. В тридцать восьмом году забрали ее мужа на действительную, угодил он на Халхин-Гол, там и погиб. Помню его хорошо: такой здоровенный, чернобровый, с синими глазами, спокойный и застенчивый...

— А зачем заглядываешь в окно?— спрашиваю я.

— Чё, опять приехал к бабушке сметанки отведать?— говорит она, будто не слыша моего вопроса.

— Зачем заглядываешь?— повторяю я свой дурацкий вопрос, отчего самому становится нехорошо.

— Надо же знать, кто тут чупахтается — баба или мужик?!

— А язык у тебя отсох, что ли?— заворачиваю по-деревенски я.

— Ой, держите меня! Ты, Коль, поди, себя к мужикам уже приписал?— наигранно говорит она, певуче, слегка дрожащим голосом.

— Раз в армию взяли, значит мужик!— говорю я и опять чувствую неудовлетворенность своим ответом.

— Хэ-э, муж-жик! — с перерывом, словно поперхнувшись, произносит она.— Сухостой ты длинноногий, давно ли вместе с бабами мылся?

«Вот стерва»,— подумал я, оглядывая свое костлявое тело.

— Да мойся ты побыстрей!— раздается из-за двери.— Мне завтра чуть свет в поле. Нет — так зайду!

— Я тебе зайду — вода-то горячая вот стоит!

— Дурачок! — примирительно говорит она и надолго замолкает.

Я ловлю себя на том, что не моюсь, а только разговариваю с Настей и томлюсь в ожидании неизведанного.

Вдруг скрипнула дверь, и показалась Настина голова с распущенными волосами и четким пробором. Я вскочил и встал к ней спиной.

— Господи, кого я стесняюсь: был бы мужик настоящий?! Продрогла только зазря,— сказала она не своим голосом.

Слышу, как Настя раздевается. Хотела еще что-то сказать, но поперхнулась и насильно кашлянула несколько раз. Проходит к окну, коснувшись горячим плечом моих лопаток. Приседает около коптилки, говорит:

— Чадит, не видишь, что ли?

Теперь она меня не видит, и я нагло уставился на нее. Длинные волосы, недавно распущенные из кос, волнами ниспадают ниже округлых бедер.

Просвеченное через волосы, четко вырисовывается очертание ее фигуры. Талия настолько тонкая, что, мне кажется, если перехватить ее руками, то пальцы обязательно сойдутся на животе и на спине. Наконец она положила булавку, которой вдавливала фитиль, и, не поднимаясь, сказала:

— Коль, а Коль, чей-то на тебя трясун-то навалился?

Встала и повернулась ко мне. Я не отвернулся, но, кажется, зажмурился. И тут почувствовал, как меня коснулись упругие, как гуттаперчивые мячики, ее груди...

Слыша свое трудное дыхание, как в страшном сне, когда летишь в пропасть, не чувствуя тяжести своего тела, я наконец горячо выдохнул и сразу ощутил коленями шероховатый и скользкий пол. В нос ударил терпкий запах бани по-черному...

Вскочил, наугад схватил что-то из своего белья и бросился за дверь. Упершись плечом в частокол, торопливо надеваю трусы.

Луна светит вовсю. Настя, приоткрыв дверь, насмешливо смотрит на меня. Я вижу ее голову, одно плечо, одну грудь, которая при лунном свете кажется не просто упругой, а твердой, как мрамор. Чуть ниже груди — часть тела, под крутым углом уходящая за косяк. Еще ниже, показываясь из-за косяка то больше, то меньше, крутое, как молодой месяц, бедро.

Мне показалось, что Настя собирается идти ко мне. Я заторопился, запутался в трусах и шарахнулся в крапиву. Настя расхохоталась и закрыла дверь.

Сидя на корточках и пригоршнями поочередно прикладывая влажную землю к ужаленным местам, я думал: «Это что же — и все?... Стоило из-за этого не спать ночей! И отчего об этом столько разговоров?»

А наутро, как только проснулся, сразу вспомнил Настю и себя с ней. До полдня без дела толкался по двору. Заходил в огород. Нехотя ел огурцы и морковь. Несколько раз зачем-то заглянул в баню.

После обеда на улице затарахтела полуторка. Бабушка проводила меня до машины. Подавая узелок, она попросила:

— Ты уж, Николашка, шибко-то высоко не летай.

— Постараюсь, бабушка,— пообещал я.

В кузове я был один. Машина, подпрыгивая на ухабах, скрипя разбитыми бортами, проскочила покосившиеся ворота поскотины и стала подниматься в гору.

Я сидел лицом к деревне на замызганной мазутом скамейке, которая на крючках была подвешана к бортам около кабины, и смотрел, как за вершинами деревьев открывалась та часть деревни, где стоит дедушкин дом.

Вот я увидел из-за сарая, крытого соломой, пепельный скат крыши, выходящий на улицу, потом выглянули три окна, в которых горел отблеск яркого солнца, и наконец показался срез завалинки ,и затем открылась темно-зеленая лужайка, на которой тут и там белели куры.

Я встал и, держась за кабину, вытянув шею, стал смотреть в левую сторону бревенчатой стены сарая, туда, где должна была показаться баня. Но тут машина, поднявшись на бугор, свернула вправо, и деревня скрылась за лесом.

Ерзая на скамейке, я еще несколько раз вглядывался туда, где, кроме леса, тонущего в прозрачной синеве, ничего уже не было видно.

На душе становилось все тоскливее и тоскливее. Перед глазами без конца вставала Настя. То я видел ее присевшей около коптилки, то выглядывающей

из-за косяка. Ругал себя: «Вот дурак так дурак! И зачем я убежал, когда она была такая теплая и хорошая? Дуралей, сам же все испортил.

«А что если вернуться?— вдруг взбрело мне в голову.— И потом ночью пешком. Тридцать километров — пустяки, впервые, что ли? Часов за пять отмахаю. По ночной прохладе идти легко. В военкомат надо к девяти. Если на часа два запоздаю, что мне за это будет? Нет, не пойдет! Военное время — строго. Да еще, чего доброго, вместо летного училища угодишь куда-нибудь в пехоту. Нет, не стоит»,— решил я и повернулся лицом навстречу ветру.

Ветер ласкающей прохладой струился по лицу, шее. И тут мне вспомнилось, что у Насти точно такое же прохладно-бархатистое лицо, когда она коснулась им моей щеки.

«Ну, хватит,— решительно подумал я,— пехота так пехота»,— и стал пробираться к заднему борту...

Никем не замеченный, остаток дня провел на той же отмели. Опять загорал, купался. Когда жара спала, не заметил, как заснул. Проснулся уже в прохладе и удовлетворенно подумал, как это кстати. Еще раз искупался и в плотных сумерках пришел к деревне.

Перемахнул через изгородь в Настин огород и межой пошел к сараю. Над темными крышами домов поднималась луна.

Осторожно пролез в ветхую калитку, сделанную из частокола, не открывая ее, а только отогнув верх, и остановился около лестницы на сеновал. Затаив дыхание, прислушался. Тишина. Только из открытой двери стайки изредка было слышно, как на насесте сонно поговаривают куры да где-то в тени посапывает корова, чмокая жвачку.

Сдерживая дыхание и стараясь дышать открытым ртом, стал подниматься по отшлифованной и сейчас поблескивающей в лунном свете лестнице. Подняв голову над уровнем последнего бревна, задержал дыхание, вглядываясь в темноту сеновала. Ничего не увидел, но уловил еле слышное дыхание. В груди все всколыхнулось, лицо загорелось. Не помню, как поднялся наверх. Сделал шаг, другой по мягкой сенной трухе и вижу, у ног моих обозначилось что-то вроде постели. Только стал приседать —постель вдруг шевельнулась, и раздался сдавленный страхом голос:

— Ой, кто тут?

— Это я, Настя! Не бойся!

— Хо-о-о, господи,— выдохнула она, перепугал до смерти. Ты разве не уехал?

— Вернулся пешком: машина сломалась,— вру я, дивясь над ней, как это можно после такого испуга и спросонок задать вполне здравый вопрос.

— Смелая ты, Настя, ничего не боишься: ни коней, ни темноты...

— А чё бояться-то?— сказала она, слегка подаваясь на меня.

Когда я притронулся к ее горячему телу, она чуть слышно произнесла:

— Ой, какие холодные у тебя руки, Коля!

Я, все еще боясь, что она вот-вот скажет: «убери руки» или что-нибудь в этом роде, несмело притронулся к ее груди. Но Настя ослабшим голосом, каким говорят засыпающие люди, снова повторила:

— Ой, Коля, какие у тебя холодные руки!— и, жарко дыша, потянулась ко мне губами...

Как только забрезжил рассвет и пропели первые петухи, Настя соскользнула вниз по лестнице и принесла из погреба кринку молока, сметаны, творогу и деревянную ложку.

Я чувствовал себя голодным, как никогда в жизни. На еду накинулся с жадностью. Настя глядя на меня, загадочно улыбалась.

Задами вышли на дорогу. У поскотины остановились, и Настя совершенно неожиданно для меня припала к моему плечу и расплакалась. Она долго плакала молча, потом сквозь слезы спросила:

— Коль, ты будешь писать мне, а?

Я как-то об этом не думал и все-таки сказал:

— Ну, конечно, конечно, Настя, обязательно! Как только прибуду в училище, сразу и напишу.

Она расплакалась навзрыд, и прижимаясь ко мне, с причитанием несколько раз повторила:

— О, господи, какая я несчастная! Какая я несчастная!

Мне в первый миг от этого стало даже как-то приятно: вот из-за меня как женщина убивается! Но тут же я заметил в ее взгляде какую-то странную отвлеченность .Она умиленно смотрела на меня, прижималась ко мне, и в то же время чувствовалось, что она думает о ком-то еще...

Я догадался. И едва ли ошибся: наверное, ей сейчас вспоминался муж, которого она три года назад, может быть, вот так же проводила до поскотины, где они расстались навсегда.

* * *

Был жаркий июльский день. От вагонов и путей сильно пахло испаряющимся мазутом. Мать ходила рядом со мной по перрону, часто сморкалась и плакала. С моим отъездом она совсем упала духом и опустилась. Была растрепанна, в несвежей батистовой кофточке, в стоптанных Ленькиных полуботинках на босую ногу .

Мне надоели ее слезы и причитания. И еще, признаться, меня смущала ее внешность: эти неприбранные волосы, опухшее лицо, стоптанные полуботинки .А вокруг было много красивых женщин и девушек. Я сравнивал их с Настей и находил, что она красивее всех. «Вот если бы чуть пополнее она была, а то что это за талия?» — думал я тогда.

Я чувствовал себя рядом с матерью неловко и с нетерпением ждал отправления поезда.

Но вот наконец ударил колокол, и мы подошли к вагону. Мать повисла у меня на плече. Я исподтишка огляделся вокруг: не смотрят ли на меня, торопливо поцеловал ее в соленое лицо и поспешил освободиться из объятий. Хотя еще было время и можно было постоять, вскочил в вагон. Мы сгрудились около раздвинутых вовсю дверей, напирая друг на друга, стукаясь стрижеными головами. Я стоял, прижатый грудью к неотесанной перекладине, и видел, как за вагоном бежали женщины и дети. Впереди всех бежала мать. Поезд набирал скорость, все давно уже отстали, а она бежала. Один полуботинок слетел, она споткнулась и упала. Но тут же быстро вскочила и, сверкая вымазанными в мазуте коленями, продолжала бежать. Махала платком и что-то кричала...

В училище первые дни, пока я не вошел в режим, у меня не хватало времени даже для мелочей. Кое-как сумел выкроить полчаса, чтобы написать матери открытку в двух словах и Насте коротенькое, в одну страничку письмо.

Нас готовили по сжатой программе. По 10—12 часов читали теорию, и сверх этого мы еще обживали кабины и осваивали управление боевых машин, на которых нам предстояло скоро летать.

Первое письмо от Насти пришло как-то очень быстро. Я обрадовался ему, торопливо распечатал, прочитал и отчего-то подумал: «Ну вот, теперь отвечать придется!» — и тут же удивился: «Что это со мной?» А потом понял: если бы письмо пришло не так скоро и было бы поменьше в нем о любви, то...

День проходил за днем. И хотя выпадало свободное время, я ей не отвечал. А чтобы заглушить совесть, выискивал себе какое-нибудь дело, создавая видимость занятости, будто Настя тут, рядом, инаблюдает за мной.

Так прошло около месяца, и от Насти пришло второе письмо, которое я распечатал уже неторопливо и без всякого волнения. В нем не было ничего нового, только в конце перечислялись деревенские новости. О том, что умер почтарь дядя Макар и письма теперь отправляют с оказией, и что в деревне не осталось ни одного мужика, а только старики и ребятишки, а им, бабам, приходится делать всю мужицкую работу.

Третьего письма я вообще не ждал и, получив его утром, протаскал до вечера в кармане, не читая.

Тут как раз начались самостоятельные полеты.

Мое будущее представлялось мне таким же голубым и огромным, как небо. Я часто видел себя в воздушных боях атакующим танковые колонны, разгоняющим пехоту и везде выходящим победителем. Меня хвалят командиры, на моей груди поблескивают ордена, обо мне пишут в газетах. Какая там Настя! Зачем она мне нужна со своими письмами, полными грамматических ошибок?

Мать в одном из писем сообщала, что умер дедушка. Желая написать ей что-нибудь утешительное, я так и не нашел ничего, кроме холодной фразы: «Горю не поможешь»...

К счастью, все Настины письма сохранились.

Я ждал несколько месяцев, пока мне наконец разрешили читать. Теперь ее письма казались мне совсем другими: добрыми и нужными, а сама она — родной и желанной. Сейчас я понимал, что люблю только Настю и всегда любил только ее. Но небо, большое и загадочное небо, заслонило ее от меня.

Перечитывая, я сокрушался, как могло не тронуть меня в последнем письме вот это:

«После октябрьских, пока стояла слякоть, долго никто не ездил за почтой. А мне сон приснился, будто я белье развешиваю во дворе на веревку. Да много белья, сколько у нас его и нету. С неохотой делаю, вроде оно чужое. Проснулась радостная: знаю, что к письму это. Побежала я в контору — там сказали, что в район никто не поедет, пока не подморозит. Думаю, пойду пешком. Мать давай волками пугать меня. А их и правда развелось у нас — целая погибель. Недавно одного сама видела. Заробела было я, а потом взяла березовую палку потяжелее и пошла. Думаю, не зима еще, свадьбами не ходят, а от одного отобьюсь, чуть чего... Полдеревне письма принесла, а от тебя опять ничего... Вот оно — чужое-то белье...»

* * *

В конце августа вернулся из госпиталя домой. Первые месяцы чувствовал себя совсем плохо. О письме к Насте боялся и подумать. Меня и без того пугала мысль — а вдруг приедет, а я такой немощный.

В середине ноября, когда ударили заморозки и установилась ясная погода, мне стало намного лучше.

А в конце месяца из деревни пришло известие: умерла бабушка. Для нас это не было неожиданностью. Мать говорила, что сразу после смерти деда она затосковала и начала часто прихварывать. Мать несколько раз ездила проведать ее, звала жить к себе, но та — ни в какую, твердит одно: «Помирать буду в деревне — и баста»,— как будто в город ее только для этого и приглашали.

Я засобирался в деревню. Боязливо думал о встрече с Настей, которая будет неизбежна. Размышлял: ведь с первого взгляда, с одного слова все будет ясно...

Когда я вышел во двор, чтобы выхлопать шинель, мать как раз возвращалась от тети Шуры. Она без разговоров выхватила шинель у меня и, тряся ее, ворчала:

— Да разве можно тебе так? Ты что, забыл, какая у тебя голова? И не в деревню ли уж собрался?

— Да! А как же? Обязательно поеду!

— Ну-ну, не выдумывай, сынок. Бог простит тебя — калеку. Лежи уж. Одна съезжу. Я с Шурой договорилась — она походит за тобой.

— Зачем за мной ухаживать? Я что, беспомощный какой, что ли? Кого ты из меня делаешь? И почему я не должен поехать? Подумаешь — головные боли! Ведь бывают они у некоторых и без этого.

— Боль боли рознь, Коленька,— не обращая внимания на мой тон, сказала она.— К тому же, видишь, приморозило, а снегу как следует еще нет. На телеге придется ехать. По этим колдобинам того и гляди, что здоровые мозги вытрясешь.

— Я пешком пойду помаленьку.

Она взглянула на меня, как на ребенка, который несет что-то несуразное, на что совсем не обязательно отвечать, и сказала другое:

— По утрам пей траву из зеленой бутылки, в обед — из светлой, а вечером — из третьей, они по порядку все стоят. Если опять сильно закрутит, подогрей песок, который с илом. Сдается мне, он тебе хорошо помогает.

И еще наговорила мне столько всего, что у меня опустились руки, и я снова почувствовал себя никуда не годным, совсем больным. А вскоре в голове появилась та тяжесть, которая обычно приходила перед приступом. И теперь уже трудно было определенно сказать, нагнала ли мать на меня это или действительно рановато мне еще храбриться. Я сразу сник и стал думать: «Да, пожалуй, мать права. Чего я бунтую? Не враг же она мне!» — и смиренно отказался от поездки в деревню.

На второй день с утра я чувствовал себя вполне терпимо. Настой из двух бутылок вылил в таз и оставил только одну, где была душица с мятой. После обеда сходил в магазин спорттоваров и купил пару шестикилограммовых гантелей. Тяжеловаты, но других в продаже не оказалось. Сделал несколько самых легких упражнений и запыхался. В голове застучало. Отложил их, посмотрел на себя в зеркало. Лицо побледнело. «При матери ни в коем случае нельзя заниматься: выбросит сразу. Да и вообще, пожалуй, надо начать просто с гимнастики»,— подумал я.

К гантелям я привык еще в училище. И все время занимался на фронте. Там нужны были крепкие руки. Порой выпадали недели, когда нам прихо-

дилось работать день и ночь. Бывали случаи, что полк терял машины из-за усталости летчиков.

Через пять дней приехала мать. Как только она переступила порог, я в ее глазах прочел намерение сейчас же начать лечить меня.

— Как, сыночек, голова?— спросила она, раздеваясь.

— Да ничего, нормально!

— А что морщишься?

— Да так что-то кольнуло вдруг.

— Вот видишь, а говоришь, нормально,— и прошла к подоконнику, приподняла каждую бутылку.

Убедившись, что они пустые, удовлетворенно перевела дух и спросила:

—От ребят писем не было?

— Нет! Им я опять тут от нечего делать написал, о бабушке сообщил.

— А-а, молодец!— отозвалась она.— Перед смертью, говорят, она всех вас поминала. Прям так по порядку, как вы родились... Как быстро свернулась! С утра ее еще видели на ногах, а вечером раз — и готова! Ни одного родного человека рядом не было. Как я ее упрашивала переехать к нам.

Голос у матери сорвался, но она не расплакалась, только тяжело повздыхала и успокоилась.

Назавтра вечером, моя пол под кроватью, она натолкнулась на гантели.

— Коля, что это за железяки у нас появились?

— Гантели.

— Что это за грантели? Что ими делать?

— Мускулатуру развивать, здоровье укреплять.

— Выдумщик! По полпуду, верно, каждая. Это для здорового человека, да и то... Не-е-т, сыночек, не тебе этим заниматься,— протянула она.— Вот капусту придавливать — хорошо подойдут.

Управившись со всеми делами, она опять принялась листать лечебник. Потом принесла из кладовки целый мешок трав, которые привезла из деревни, и стала их разбирать .

Квартира наполнилась пряным запахом. Мне снова вспомнилась деревня и Настя.

Вчера весь день и сегодня вечером, как мать вернулась с работы, меня так и подмывало спросить у нее, видела ли она Настю. Но я думал, что мать ничего не знает о нашей с ней связи. К тому же после похорон бабушки затевать такой разговор... И все-таки не удержался и спросил:

— Бабушку на кладбище все соседи провожали?

— Ну, а как же не все?! Как уж заведено в деревнях,— сказала она почти строгим голосом и, как мне показалось, осуждающе взглянула на меня.

«Неужели она все знает?»— подумал я.

Немного помолчав, я решил спросить прямо:

— Настя Доротова была?

— Была, как же ей не быть? Не только была, но и слезы лила. Выискалась родня!— чуть не выкрикнула она, сердито вороша траву.

— Зачем так зло?— спросил я.

— А чего мне злиться?— снова спокойно заговорила она, но я видел со спины, как она нервно листала страницы лечебника.

Зная, что если сейчас прервать разговор, то потом мне трудно будет затевать его снова, я решился:

— Ну, а как она живет?— спросил я, стараясь придать голосу самый безразличный тон.

— Как! Настю не знаешь? Озорница — она и есть озорница. На году полдюжины председателей меняется, и все с ней спят.

— Неправда! — выкрикнул я, и голову мне сжало, как тисками.

Я еще хотел что-то крикнуть, но резкая боль остановила меня .

Мать тем временем, продолжая спокойно сидеть ко мне спиной, назидательно со вздохом проговорила:

— Что неправда-то, сынок? Если б нужен ты ей был, то давно бы могла приехать.

Потекли дни. Мать по-прежнему к семи уходила на работу и часов в восемь, иногда позднее, еле волоча ноги, приходила домой. При виде меня, особенно если я выглядел хорошо, она сразу приободрялась, расспрашивала, от какой травы почувствовал облегчение.

Я понял, что нельзя отказываться хотя бы от некоторых ее настоев, иначе она изведет себя и меня. Сказав ей, что вот настой душицы с мятой мне вроде бы неплохо помогает, я попросил делать его ежедневно. О-о, надо было видеть ее после этих слов!

На самом деле мне просто нравился этот ароматный настой. Я пил его с удовольствием, порой вместо воды, всякий раз при этом вспоминая деревню, дедушку на пасеке среди гречихи и жужжащих пчел, бабушку, которая эту же душицу добавляла в квас, Леньку с Витькой и себя, чаще всего с удочками в руках, выходящими на ту солнечную поляну над обрывом реки, где с цветка на цветок тяжело перелетают шмели, а в небе всегда кружат стрижи. И среди этого везде мне виделась Настя, Настя и Настя. О ней я думал по целым дням.

А вдруг она все еще ждет, надеется, а не сегодня-завтра скажет: «Ну, хватит!?»

И однажды утром, как только мать ушла на работу, я сел за письмо. Письмо никак не получалось. То мне казалось, что в нем много слез и раскаяния. То сдавалось, что оно вышло слишком сухим, почти официальным. И наконец к вечеру получилось такое, которое меня удовлетворило. В нем было все для того, чтобы вызвать откровенный ответ, если я еще не забыт, а если же наоборот, то не над чем будет посмеяться, и я не окажусь уязвленным, оставшись без ответа.

Вот уж поистине: пришла беда — отворяй ворота.

Не прошло и месяца после смерти бабушки, как нам принесли извещение о гибели Леньки, а серым мартовским днем, когда на дворе был ветер и слякоть, пришла похоронная на Витьку.

Мать плакала на удивление мало. За несколько месяцев иссохла, ссутулилась и стала замкнутой. Всю свою любовь перенесла на меня одного.

Проснувшись однажды ночью, я увидел в полутьме растрепанную мать, творящую надо мной молитву. Я чуть не обмер со страху. Мелькнула мысль: «Все, я умер!»

Долгое время я не мог смириться ,что братьев у меня больше нет. Порой часами просиживал около подоконника и смотрел туда, где под слоем краски виднелись когда-то вырезанные нами имена: Леня, Витя, Коля. Думал: никогда им больше не увидеть того берега, да и мне, наверное, тоже. Как туда поедешь? Настя так и не ответила.

Я сник. Перестал заниматься гимнастикой, о гантелях вообще забыл. По настоянию матери, умываться стал только теплой водой. Постепенно мать полностью завладела мною.

Желание быть здоровым, появлялось все реже и реже.

* * *

Лежу и ощупываю затылком ребрины скамейки. Голова совсем не болит. Хочу спать, но стараюсь не заснуть, чтобы насладиться безболием.

— Эй, на плоту! — громко раздалось с берега Енисея.

Я встрепенулся и хотел было встать, но тут же усмехнувшись над собой, успокоился. «Сидит-таки во мне леспромхоз, хотя и пустяки пробыл там», — подумал я.

Ошибся я. Подкупило меня слово «лес».

Стоит мне увидеть или даже просто услышать слова: «лес», «заводь», «поляна», так тут же передо мной встанет мое детство — каникулы в деревне. А вслед за этим я всегда с необыкновенной четкостью вижу одну и ту же картину. Будто бы при ярком закате солнца после теплого дождя по зеленому полю среди цветов навстречу мне, улыбаясь, идет босая девушка в выцветшем ситцевом платье. Все лицо ее в капельках дождя. Русые волосы влажные только сверху и плечи тоже потемневшие, а загорелые длинные ноги все мокрые от травы, и на них много прилипших лепестков.

Настя ли это или другая какая девушка — не знаю, но в ней я всегда чувствую что-то теплое и родное.

Я теперь уж и не знаю, видел ли я это во сне или вообразил когда, — не помню. Но последнее время мне все чаще кажется, что видел это на самом деле и притом немного раньше, чем впервые встретил Настю.

И что еще страннее: кажется, было это задолго до того, как я появился на свет...

Нанялся я в леспромхозе радистом. Прибыл на место работы, и сразу мне все не понравилось. Поселок расположен среди болот. Говорят, зимой место выбирали. Жара. В потное лицо бросаются комары. Все ходят в резиновых сапогах.

Машин и тракторов, против моего ожидания, оказалось — уйма! День и ночь они рычали и фыркали на единственной улочке, вытаскивая друг друга из грязи.

Кругом поодиночке и по нескольку штук в стальных удавках валяются перемазанные грязью длинные деревья с ободранной корой.

Еще не обжитые дома, собранные из бруса, по пазам которых висят клочья пакли, колышущиеся при ветре, выглядят уныло и бесхозяйственно. За окнами, сплошь без штор и занавесок, видны те же стены с клочьями пакли и зачастую еще не пробеленные печи желто-коричневого цвета.

Директор леспромхоза Курилов Роман Феоктистович, здоровенный детина с огромным животом, был душевный человек и большой трудяга — не из кабинетных.

Лицо у него большое и добродушное. Все щеки испещрены красными прожилками, на расстоянии кажущимися здоровым румянцем.

Ходил Курилов всегда в болотных резиновых сапогах, широкие раструбы голенищ которых ниже колена были завернуты вдвое. Эти сапоги, потертые полугалифе дешевого сукна и непомерно огромный пиджак делали Романа Феоктистовича таким великаном, что, глядя на него со стороны, когда он подходил к двери конторы, мне всякий раз казалось, что он в нее не пройдет.

Лет ему было около шестидесяти. Он прошел почти всю войну. Был командиром саперного батальона. Весь изранен. Я видел его в бане — как сильно его мясистое тело было испахано шрамами! С утра Курилов часто прихрамывал на левую ногу. Днем разминался, и хромоты не было заметно, а к вечеру начинал опять припадать.

Единственный сын его погиб в сорок третьем году.

Здесь Роман Феоктистович жил один. В Красноярск он выезжал по делам не менее двух раз в месяц, одновременно навещая свою одинокую жену, которая до сих пор убивается о сыне и не верит, что он погиб. Поэтому Курилов всегда возвращался оттуда пасмурным и первые день-два выглядел несобранным и рассеянным. А потом набрасывался на работу.

Его грузная фигура появлялась то среди трактористов и шоферов, с которыми он вместе осматривал машины, прислушивался к работе двигателей, кому-то что-то советовал, кому-то давал нагоняй. То он взбирался на чердаки недостроенных домов, проверяя, ровно ли и достаточным ли слоем засыпаны потолки. Мелкими шажками по завалинке обходил вокруг каждого законченного дома, чтобы убедиться, насколько плотно набиты завалинки, и одновременно щепкой тыкал по пазам. Если находил место, где щепка глубоко проваливалась, кричал строителям:

— Халтурщики! Имейте в виду: в самые холодные дома вас поселю!...

Встретил он меня около тракторных саней по-свойски.

— О-о, наконец-то! Давно мы тебя ждали — задыхаемся тут без связи. Ты один или семья позднее подъедет?

— Я холостой.

— Ну и хорошо, — похлопав меня по плечу тяжелой ладонью, сказал Курилов,— а то у нас пока с жильем плоховато.

От этого: «Наконец-то, давно мы тебя ждали»,— мне в первый миг подумалось, что он меня с кем-то перепутал. А от слов: «Задыхаемся тут без связи»,— произнесенных Куриловым тоном, не оставляющим сомнения в моей полноценности,— на меня нахлынуло то полузабытое чувство, которое я испытывал в воздухе, когда подоспевал вовремя и выручал кого-нибудь из беды.

— Будешь жить со мной через стенку, раз холостой, и радиостанцию там установишь, она давно уж валяется, ждет тебя,— сказал Курилов, бухая впереди меня сапожищами.

— Отлично,— сказал я.

Хоть я и понимал теперь, что это его манера, но от слов: «Ждет тебя»,— у меня на душе снова стало как-то свободно и отрадно.

Мы подошли к новому дому, тоже собранному из бруса.

— Вот ты и дома,— сказал Роман Феоктистович, остановившись около запертых на замок тесовых сеней.

— С той стороны моя квартирешка, а всю вторую половину временно занимаем под контору.

В окне конторы показались две женщины: одна — в ярком сиреневом джемпере, другая — в клетчатом сарафане с толстым красным карандашом в руке. Они с любопытством поглядывали на нас. Курилов им крикнул:

— Карцева, красавицы, пошлите сюда — радист приехал.

Вышел мрачный человек, рыжеголовый, давно не бритый, щеки вспыхивали на солнце красной медью. Новая хлопчатобумажная куртка синего цвета топорщилась на его сутоловатой спине. Он хмуро поздоровался и шагнул на крылечко, бренча связкой ключей.

Выгоню я тебя, честное слово, выгоню к ядреной матери. Работы кот наплакал: два часа в день, а ты по полумесяцу отчет не можешь сдать. То кому какой-нибудь пустяк надо получить, тебя черта с два сыщешь.

— Отчет сегодня сдал, Роман Феоктистович, — теперь уже внятно сказал Карцев, раскрывая легкую в смоляных подтеках дверь.

— Ну, слава богу! Придется за этот месяц премию тебе выписывать —всего на неделю запоздал,— пробубнил Курилов.

В квартире, состоящей из крохотной кухни и небольшой комнатушки, пахло глиной и смолой.

В комнате вдоль стены стояли четыре раскрытых ящика. В них все было перевернуто и запутано антенным канатиком. На крепком крашеном столе, стоящим под окном, лежал на боку сам передатчик. На полу среди оберточной бумаги рядом с наушниками валялась инструкция радиостанции с отпечатанным следом чьего-то резинового сапога.

— О, черти! Все поразбросали,— поднимая инструкцию, сказал Роман Феоктистович.— Электромеханика я тут просил заняться ею, да говорит, не мог разобраться, что к чему...Ты-то ничего, разберешься в этой штуке?— спросил он, кивая на стол.

— Знакомая,— ответил я,— на самолетах подобные стояли.

— Так ты тоже летчик, выходит?!— обрадованно спросил он.

Я внимательно посмотрел на него, пытаясь вообразить его в летной форме и прикидывая, не встречал ли я его там, но потом понял, что он не о себе.

— Бывший летчик,— ответил я и машинально пятерней забросил волосы назад, оголив залысину, но, тут же спохватившись, закрыл ее снова.

— А-а, ну-ну,— все понял, сказал—Курилов,— досталось, говоришь, на орехи?

Он остановившимся взглядом некоторое время смотрел в пол. Потом присел на ящик, который ближе к столу, и достал папиросу. Долго держал ее во рту не прикуривая, продолжая так же отрешенно глядеть в пол. Затем рассеянно посмотрел на меня, чиркнул спичку и вымолвил:

— Сын у меня единственный, Толик, тоже летчиком был. Погиб в начале сорок третьего где-то в Карпатах, на границе с Венгрией. Ты-то где воевал?

— Я — в Прибалтике.

— А-а,— глухо отозвался Курилов,— значит, встретиться не могли,— безнадежным тоном сказал он, но все-таки поднял на меня ожидающий взгляд.

— Нет, Курилова Анатолия я не встречал,— ответил я.

— Он на пикирующих бомбардировщиках летал. Ты на них же?

— Нет, я на штурмовиках.

— Это на тех, где стрелок почти до пояса открытый?

— На них,— кивнул я.

Роман Феоктистович шумно выдохнул и потянул потухшую папиросу. Потом машинально похлопал по отвисшей поле пиджака. Было слышно, как там забренчал коробок. Сунул руку в карман, но вынул его без спичек, верно, забыл, что делает и зачем, снова звучно потянул погасшую папиросу и сказал:

— Одно время забывать уже стал его. А сейчас старость, что ли, свое берет, нет-нет, да как закрутит,— он несколько раз сжал и разжал большую руку около мясистой груди.

— Ну, ладно,— вдруг неожиданно сказал он вставая.— Кровать и прочее шмутье получишь у Карцева, отдыхай...

Через три дня мачты были установлены, аккумуляторы заряжены, радиостанция полностью подготовлена к связи. На первую связь всегда требуется больше времени и усилий. Я просидел около трех часов с наушниками на голове, периодически включая свой передатчик и посылая в эфир позывные, прежде чем связался с центральной радиостанцией.

А когда связался и меня отпустили до вечернего сеанса, назначенного на 7 часов, я сразу свалился на кровать и понял, что радистом работать не смогу. От разноголосого писка морзянки, шума и трескотни у меня началась сильная головная боль и тошнота.

«Неужели, неужели,— думал я,— придется бросить эту затею, смириться с положением пенсионера и спокойно жить там, в Ачинске, в своей старой квартире или пойти в собес и согласиться на то, что нам предлагали еще при жизни матери,— в домах, построенных специально для престарелых и инвалидов?»

Пошли мы тогда с матерью посмотреть жилье. Я-то даже не стал и внутрь заходить. Мы с детства не любили этот край. Уж больно на тоскливом месте стояли дома. Там когда-то был громадный пустырь, который служил свалкой. Везде поблескивали на солнце консервные банки и битое стекло. Белели клочья бумаги. Справа за пустырем, на черте города, стояли красные корпуса казарм, обнесенные колючей проволокой. Левее свалки — заболоченная равнина с небольшими озерцами, подернутыми зеленью, словно покрытыми драпировочной тканью.

Туда случайно мы еще забредали. А вот этот пустырь всегда обходили стороной, потому что, как помнится, летом там всегда гулял зловонный ветер, поднимающий мусор, от которого приходилось закрывать лицо, жмуриться, затыкать нос.

А зимой это место выглядело скучной степью, по которой крутила вихрастая поземка, гоняя снег вместе с мусором и оголяя те же консервные банки, бутылки, битое стекло, ржавые ведра, кровати.

Мы ходили с матерью между двухэтажных домов, отделанных рейкой в елочку и окрашенных в приветливый салатный цвет. Около каждого дома стандартные сараи под общей крышей.

Вдоль тротуаров ровными рядами: акации, черемуха, рябина, мелкий кустарник. Неаккуратно обставленные половинками когда-то побеленных кирпичей клумбы. В них кое-где торчали пожухлые стебли каких-то цветов.

Здесь по-прежнему гулял ветер, от которого я жмурился больше, чем обычно, несколько раз порывался закрыть лицо руками и шумно носом тянул воздух. И хотя он был чист и свеж, мне все казалось что вот-вот нахлынет волна того ветра с мусором и вонью.

Я представил себе, как тут будет зимой крутить поземка, а за окнами — скучный пустынный пейзаж, навевающий тоску, и мне заранее стало невыносимо тоскливо. Почувствовал себя совершенно никчемным, никому не нужным, всеми покинутым, даже больше — всеми ненавидимым.

«Нет!— решил я тогда.— Никуда не пойду из старого дома, где родной каждый сучок в половице, где на солнечном подоконнике вырезаны наши имена...»

Останавливая взгляд на номерах домов, я исподтишка поглядывал на мать и видел, что ее тоже не радовали эти новые дома. На лице у нее было написано: ну, что ж, гляди, воля твоя, мне-то, мол, все равно.

Когда зашел Роман Феоктистович, я лежал на кровати поверх одеяла. И кое-как заставил себя встать и казаться бодрым. Курилов пристально по-

смотрел на меня и перевел взгляд на бутылки, расставленные вдоль стены, в которые я слил оставшийся от аккумуляторов электролит, спросил:

— Что с тобой, Николай?

— Так что-то, нездоровится, Роман Феоктистович.

— Ну, сходи к фельдшерице, правда, говорят, она ни хрена не понимает, но, может быть, все-таки даст что-нибудь. Что у тебя болит-то?

— Голова, Роман Феоктистович, она у меня часто болит.

— Это от ранения?— спросил он, потрогав себе лоб.

Я кивнул.

— А-а, а я-то, извини, грешным делом подумал...— и он кивнул на бутылки.

— С Красноярском связался, на семь вечера назначен сеанс, пишите радиограммы,— сказал я.

— О-о, отлично,— сразу оживившись, сказал Курилов,— теперь мы заживем,— и вышел.

Через некоторое время я услышал его голос, глухо раздававшийся из-за стенки:

— Итак, товарищи, радиосвязь с Красноярском установлена.

— Хорошо-то как теперь будет!— донесся женский голос.

— Да, теперь мы зажили,— подтвердил Курилов.

Хоть я и понимал, что сделал не бог весть какое дело, но мне было приятно слышать их восторги. К тому же голову помаленьку отпускало, и я с каждой минутой все больше и больше набирался уверенности, что все вынесу, постепенно привыкну и буду работать так же, как все.

На второй и третий дни я ожидал сеансы связи, как пытку, хотя и работы было немного: утром минут 30—40, самое большее — час, и столько же вечером. Но за это время я делался совсем больным. Каждый сигнал морзе вонзался мне в мозг уколами иглы.

После сеанса я сразу валился на кровать, толкая голову под подушку, обхватывая сверху ее руками и так лежал неподвижно, ожидая облегчения. И всякий раз думал: «Сейчас, как только пройдет, сразу сажусь и пишу заявление об увольнении». Равнодушно думал о пенсионерах, смиренно видел себя среди них. Но как только приходил в себя, мною опять овладевало то неистребимое чувство, заложенное природой в каждом человеке, повинуясь которому люди к чему-то стремятся, что-то делают, чтобы быть заметными и чтоб от них что-то осталось на земле. И опять я забывал об увольнении и был готов бороться.

Курилов часто заходил ко мне и, видя, как мне дается работа, по-отцовски похлопывал меня по плечу и говорил что-нибудь подбадривающее: «Ничего, Николай, мужайся, мы, фронтовики, народ крепкий, нас так себе не возьмешь»,— или еще что-нибудь в этом духе.

Кроме того, он старался делать все возможное, чтобы у меня было как можно меньше работы. Радиограммы Курилов писал очень сжато, не допуская ни одного лишнего слова. Подписывая радиограммы, составленные техноруком, главным механиком или бухгалтером, он тщательно вычитывал, исправляя и перечеркивая все ненужное. Я не раз слышал через стенку, как он громко для всех говорил:

— Пишите радиограммы короче — ни одного лишнего слова. Вообразите, что вы платите за них своими деньгами, как на телеграфе.

А у меня он однажды поинтересовался, нельзя ли писать сокращенно такие часто употребляемые слова, как: «сообщите», «прошу», «немедленно» и



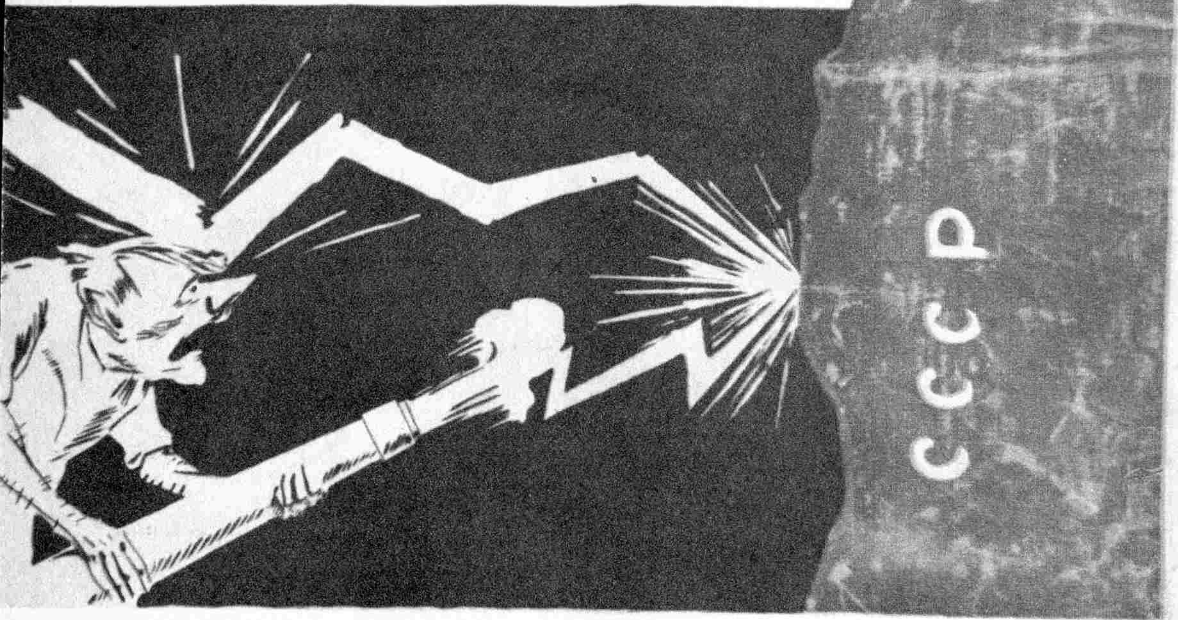
Боевые машины-доблестным танкистам

Чтоб красный фронт врага добил -
Готовит танки Красный Тыл;
Подарок силы трудовой -
Залог победы боевой.

Подарок этот создал Труд,
Его фашисты не сомнут;
С завода-к бою он готов,
Советский танк гроза врагов.

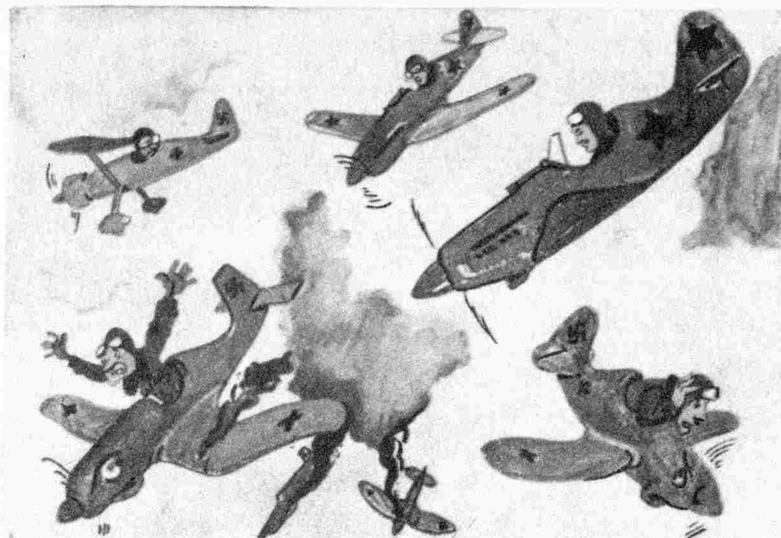
Художник А. К. Руденко

„Молниеносная" гитлеровская война



ли палка о двух концах.

Художник И. Е. Юшков



Пилоты - друзья, Дроздов и Бабушин

Когда грохочет в небе гром
Налетов боевых,
Дроздов и Бабушкин вдвоем
Летят на пятерых.

Когда друзья выходят в бой,
Бесстрашен их наскок:
Земли не видя под собой,
Фашисты - на утек.

Дроздов и Бабушкин вдвоем
Громят фашистский сброд
И ночью темною и днем
Прославлен их полет.

Художник Гемельс

Художник Н. В. Шабалин



„ПРОТИВ МОЛОДЦА - САМ ОВЦА"

А попал на молодца -
Сшибло спесь у подлеца.

Он в предчувствии конца
Сам трясется как овца





АГИТ-ОКНО №108

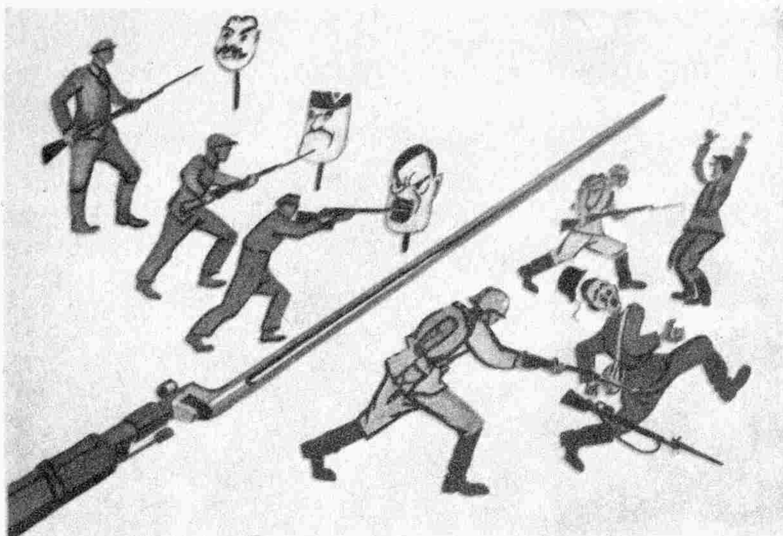
Твердил разбойникам берлинским
Их атаман из года в год.
-Пока солдат немецкий в Минске
В Берлин для русских нет
ворот!..

Через леса, через болота
Шагнул наш воин-исполин
И распахнул штыком ворота
В гнездо змеиное, – в Берлин.

Художник А. Р. Мадиссон

Художник С. Т. Развозжаев





Владей штыком

Худ. А Смирнов

Штык советский, молодецкий,
Закаленный русский штык,
Черной гадине немецкой
Ты отпор давать привык.

Чуть завидят штык фашисты —
Побегут как рысаки,
Фронтовые и штабисты
Господа штурмовики.

Не по вкусу, не по нраву
Штыковой советский бой.
Бей фашистскую ораву
Беспощадною рукой.

Художник
А. И. Смирнов



Шуба

Худ. М.С. Гранавцева

Писала Францу из Берлина
Его любезная жена:
- Достань мне шубу с пелериной
Мне очень надобна она.

Старался Франц. Он чью-то шубку
Довольно быстро раздобыл.
Но за дешевую „покупку"
Своею шкурой заплатил.

Художник
М. С. Гранавцева



В кошмарном сне метался Гитлер. Он
Увидел вдруг того, в чей плащ рядился.
- Мне жаль тебя, — сказал Наполеон. —
Я с русскими жестоко бился,
Но был разбит и посрамлен!
Так то был я!.. А ты... смешно сказать,
Тебе ль великим полководцам подражать?

Художник Н. А. Семенов



„Непобедимые“ гитлеровцы отступают
Худ. Балтуков

Беспощадно и сурово
Мы умеем воевать.
Под Москвой и под Ростовом
Немцы стали отступать

Позабыв свои ухватки,
Вшивый гитлеровский сброд
Обморозил в битве пятки,
Не закончив свой поход.

Художник Балтуков

— Это не про тебя она к нашей бабке приходит гадать? Последнее время — как сдурела: каждый вечер до темноты сидит — надоели к черту!

— Может, и про меня, — улыбаясь ответил я.

— Ты летчиком воевал?

— Летчиком!

— Ну, тогда и пошли к нам! Все про тебя знаю. Чё будешь мокнуть?

— Нет, слушай, Ваня, ты парень, видать, деловой и, наверно, знаешь, где у нее сенокосные угодья.

— А чё ж не знать! Почти рядом с нами.

— Расскажи, как идти туда.

— Да могу и довести. Как раз зарод свой посмотрю — вчера сметали. Вот я и решил после дела денек позабавиться с ребятишками.

И, хмурясь, он посмотрел вверх.

— Эх, не вовремя мне этот дождь: зарод не успел еще осесть.

— Перестает уже, — успокоил я его, — это с веток капает.

— Да, вижу, вижу, — не глядя на меня, ответил он.

Усмехнувшись про себя, я подумал: «Вот старый дед!»

И спросил:

— Ты как-то раньше всех с сеном управился. Все сегодня только пошли косить, а ты вчера уже сметал?

— Так они же колхозники — у них все широким кверху и в колхозе, и у себя. А я равняюсь на стариков. У меня сено зеленое, как отава, а у них будет желтое, как солома.

— Один косил?

— Один, второй год как один кошу. Копнить, верно, мать по вечерам помогала.

— А метали как?

— В этом году опять выгнал три четверти самогонки. Батю к этому делу никак допущать нельзя. Ну, и повалили помощники, как пчелы на мед. Ну их к черту — больше пьянки, чем дела, одни расходы. На будущий год думаю без них обойтись. Васька будет копны возить, мать на зарод поставлю, сам буду подавать.

Он докурил вторую папироску и спросил:

— Как ты назвал себя, Николаем, что ли?

Я кивнул.

— Ну, пошли, Николай, провожу я тебя — и домой. Дел у меня еще куча.

Когда дошли до фермы, он сказал:

— Вот здесь свернем к поскотине.

Ребятишкам наказал:

— Если разгуляется, полейте огурцы, всю колоду стаскайте на них — вода вчерашняя, теплая. Приду — вместе наносим. Изгородь посмотрите, не разворотили ли опять спиридоновские свиньи. Если они там, бейте батогами. Вечером, если лошадь дадут, привезу жердей, сделаю как следует.

Пройдя за поскотину километра полтора, Иван показал влево:

— Во-о-н мой зарод!

— Ух ты, какой большой! — сказал я и, тут же спохватившись, не слишком ли по-детски с ним говорю, исподтишка взглянул на него.

Но он — ничего, только горделиво приосанился и сказал:

— Хватит всем: и корове, и овцам.

Потом показал вправо от дороги на березовый колок:

— За тем колком она должна быть!

Погода давно разгулялась, все было залито солнцем. Над лесом стояла радуга, пели жаворонки.

По мокрой траве я обошел колок и увидел ее. Она была ко мне спиной. Покатые плечи. Косы аккуратно уложены на макушке.

Настя легко, как бы играючи, размеренными движениями гнала ровный ряд. Низ платья, намокший от травы, в такт движениям облегал ее стройные ноги.

— Настя! — крикнул я.

Вернее, я хотел крикнуть, но голос сорвался, и я лишь тихо прохрипел. И, откашлявшись, уже крикнул:

— Настя!

Она испуганно оглянулась, узнала меня, бросила косу и чуть не бегом по некошеной траве, улыбаясь, пошла ко мне. На ее лице еще держались капельки дождя. На загорелых ногах кое-где прилипли травинки и лепестки цветов.

Но я почему-то совершенно не удивился, что вижу ее действительно такой, как однажды вообразил или видел во сне. Только там вечер, а тут — утро. Мне подумалось: так и должно быть! Как же иначе?

Немного не дойдя до меня, Настя остановилась, настороженно поводя темными глазами.

— Здравствуй, Настя, — сказал я, подошел к ней, обнял ее, поднял над землей и поцеловал.

Потом заглянул ей в глаза. Большие, с чистыми белками, как голубой фарфор, они наполнялись слезами.

Л. РУБИНШТЕЙН

ПОЭТ—ВОИН

Уткин приехал в Москву еще во всем военном, не успел заработать на штатскую одежду, — и сразу пришел в редакцию «Правды». Его направили к Соне Виноградской, секретарю Марии Ильиничны Ульяновой.

Он дал ей свои стихи.

— Прочитайте, пожалуйста, — застенчиво обратился он к Виноградской, — и скажите свое мнение.

— Я, безусловно, прочитаю, — ответила она, глянув на красивого, стройного юношу, и улыбнулась ему, — а потом покажу еще авторитетному товарищу. Приходите завтра за ответом.

Он ушел. Соня сразу принялась читать его стихи. Закончила — и снова за эти же стихи.

В комнату заглянул Есенин.

— Посмотрите, пожалуйста, — сказала она, предлагая ему стихи Уткина.

Есенин бегло прочитал. И кисло сморщился.

— Ах, Сережа, вы, наверное, не так прочитали, — сказала она. — Прочитайте еще раз, ну, пожалуйста.

Уткин не пришел ни завтра, ни послезавтра. И адреса своего не оставил. Да и какой тогда у него был адрес! Он и сам не мог бы сказать.

Наконец, явился. У Виноградской сидел Есенин. Первое, что она сказала Уткину:

— Ваши стихи читал Сергей Александрович.

— Позвольте, Софушка, я уж сам, — строго сказал Есенин. И задумался.

Это молчание, как потом рассказывал Иосиф Павлович, леденило сердце.

— Ваши стихи, — обратился к нему Сергей Александрович, — мне, в общем, понравились. Некоторые строчки уже во мне живут. А что вы еще написали?

...Есенин не присваивал себе «открытия» Уткина, а просто, без громких слов отметил его и с появлением Уткина считал, что поэзия обогатилась. Во всяком случае такое впечатление создается из воспоминания сестры Есенина, Ека-

ГАЛЕРЕЯ «АНГАРЫ»

А. Р. МАДИССОН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Сентябрь 1941 года. По улице Горького в Иркутске быстро и деловито шагает небольшого роста пожилой человек с объемистым рулоном бумаги под мышкой. Демисезонное серое «в елочку» пальто, непокрытая голова с пышной шевелюрой седых волос цвета соли с перцем, лицо выразительное, с крупными чертами и большими карими глазами под тяжелыми веками. Глаза эти — умные и мудрые, с искоркой юмора и оттенком печали.

Пожилой человек свернул в ворота большого двора и направился к довольно своеобразному строению: стены сложены из «дикого» камня, железная лестница, приделанная снаружи, ведет на второй этаж, широкие проемы окон которого необычны по своей форме. Это явно не дом для жилья. Действительно, около входной двери табличка «Иркутское областное отделение товарищества «Художник», а чуть ниже вторая — «Мастерская Агитокон ТАСС».

Молодо прогромыхав по ступеням лестницы, пожилой человек вошел в эту дверь, и вот он уже в довольно обширном помещении мастерской, уставленной рядами длинных столов и загроможденном различными табуретами. В одном из углов большая плита, на выбеленных стенах пусто, если не считать висящих простеньких «ходиков». Под ними небольшой

письменный стол, в достаточной степени старый, и стул — это центральное место мастерской, ее, так сказать, КП. К нему-то и направился пожилой человек, весело поздоровавшись с нетерпеливо ожидающими его прихода людьми. Все они тотчас же сгрудились вокруг стола, где пришедший уже развертывал свой таинственный сверток. «Одобрено и принято, товарищи! Разбирайте свои эскизы, готовьте трафареты, делайте пробный оттиск и запускайте в тиражирование. Да быстренько, быстро, время не ждет... Вот вам новое задание, обдумайте пока темы, а я пошел в Союз писателей к нашим поэтам за текстовками».

В помещении мастерской закипела работа. Готовился к выпуску первый тираж первого номера иркутских Агитокон ТАСС.

Но кто же он — пожилой человек? Это временно эвакуированный из Москвы маститый художник, профессор Штеренберг Давид Петрович — инициатор, организатор и руководитель только что созданной в Иркутске мастерской боевых агитплакатов. Художник с пламенной душой, широко образованный и культурный, Давид Петрович обладал неукротимой энергией и тем особенным даром привлекать к себе людей, который в короткий срок сплотил вокруг него необходимый для мастерской коллектив — коллектив дружный, до предела преданный этому новому и ответственному делу — коллектив энтузиастов.

Основное звено коллектива мастерской Агитокон составляли художники, члены Иркутского областного

терины Александровны. Как-то накануне 1968 года, когда разговор зашел об отношении Сергея Александровича к Уткину, она сказала:

— Сергей утверждал, что в Ленинграде больше хороших поэтов, чем в Москве, — он имел в виду новых, молодых. Помню, весною 1925 года в журнале «Молодая гвардия» была напечатана поэма Уткина о рыжем Мотэле. «Послушай», — говорил Сергей. «Я уже сама читала», — отвечала я. Он настоял. И я слушала. Брат читал лучше многих артистов. Когда речь заходила о девушке, которая долго не могла выйти замуж, он вспоминал слова уткинского Исайи: «Отцу хвалить не годится, но другим не в укор скажу: моя девица — девица до сих пор»...

Уткина хорошо встретили в московских редакциях, его стихи сразу появились на страницах «Прожектора» и «Огонька». Его пригласили сотрудничать в московское отделение ленинградской «Красной газеты». И здесь, в столичном отделении, на Советской площади, где бывали М. Булгаков, И. Бабель, В. Катаев, М. Кольцов, А. Соболь, я был свидетелем встречи Уткина с Маяковским.

Сложными были отношения Маяковского и Уткина. Одно во всяком случае твердо можно сказать: «Маяковский внимательно отнесся к молодому поэту. После того, как Маяковский услышал в исполнении Уткина его «рыжего Мотэле» по свидетельству очень близкого человека, он «пришел домой возбужденный и не успокоился до тех пор, пока и мы его (Мотэле) не узнали».

Уткину-поэту, думается, помогали во многом Уткин-спортсмен, Уткин-музыкант и Уткин-певец. Иосиф часто пел с Жаровым и Безыменским. Это трио А. М. Горький в Сорренто называл в шутку синодальным хором.

Литературный успех пришел к нему довольно быстро. Но ничто не вскружило ему голову. Он серьезно задумывался о будущем. Что греха таить — знаний было у него немного. Поступил учиться в КИЖ (Коммунистический институт журналистики). Будучи студентом, принял при-

глашение Тараса Кострова — первого редактора «Комсомолки», и возглавил литературный отдел газеты. Третий этаж дома по Малому Черкасскому переулку, где теперь Детгиз и где царит тишина, как в Академии педагогических наук, в то время был самым оживленным уголком Москвы. К нему тянулись млад и стар: известные литераторы и совсем еще начинающие. Уткин первый оценил и напечатал «Гренаду» Светлова, «Гармонь» Жарова, «Думу про Опанаса» Багрицкого. Без помощи Уткина и его постоянного внимания тяжело, наверное, пришлось бы Н. Ушакову, В. Гусеву. Сотрудничество Маяковского в «Комсомолке», которого Уткин называл Владимиром Необходимычем, постоянное общение с ним крепили его силы и уверенность в себе.

Однако удары были направлены с самых, казалось бы, неожиданных сторон.

...«Какое вы имеете право вздыхать наедине», — спрашивал Уткина «Новый Леф». «Если вы человек коммунистической культуры, то каждый вздох, каждую потяготу на усталость — несите под контроль. Вас «обдумают», «починят вам нервы» и «пустят в работу» (П. Незнамов. «Н. Леф», 1928, № 9).

Лефовцы, напостовцы... Кто только не тыкал его вилами в бок! И еще удивлялись, как он все «выдерживает».

«Что вы хотите, — отвечали им, — за спиной Уткина — Луначарский, Горький! Вы слышали, что Анатолий Васильевич сказал: «У Уткина ...много задушевности и рядом с этим скромно, но горячо выраженный пафос, бесконечно много юмора». («Правда», 6 июня, 1926). А. М. Горький называет Уткина талантливейшим поэтом и призывает относиться к нему «бережно и заботливо». (М. Горький. Сочинения. М., 1953, т. 24, стр. 324—325). И тем не менее атаки продолжались.

«Конечно, спасибо Анатолию Васильевичу и Алексею Максимовичу на добром слове, — говорил Уткин. — Но что значит за моей спиной — Горький, Луначарский? Предположим, за

отделения Союза художников и товарищества «Художник». На них была возложена главная задача — создание истинно боевых, выразительных и броских эскизов Агитокон, причем они всегда должны были быть предельно оперативными. Каждое сообщение Совинформбюро немедленно находило отклик в тематике агитплакатов, держало мысли и чувства художников всегда мобилизованными, всегда в полной боевой готовности. Многие из художников мастерской были призваны в ряды Красной Армии, как, например, А. Ш. Закиров, Н. А. Семенов, А. К. Руденко, И. Е. Юшков, Е. А. Конев, и уже не с помощью своих эскизов Агитокон ТАСС, а с оружием в руках сражались против фашистских захватчиков. С болью вспоминается очень талантливый Залетов Леонид, погибший сразу же после прибытия на передовую.

Когда из мастерской уходили призывники, остающиеся товарищи — В. П. Томиловский, С. М. Развозжаев, Г. Н. Раков, М. С. Грававцева, Дагмара Калачикова, Н. В. Шабалин, Н. В. Лодейщиков, А. С. Жарков, Алексей Смирной, Балтуков и автор этой статьи — плотнее сжимали свой строй, работали, как говорится, за десятерых, с еще большим накалом, с еще большим чувством ответственности. Ведь все они являлись бойцами на своем скромном посту.

Кроме основного звена художников, в мастерской Агитокон имелось второе звено, состоящее из технических работников, то есть из бригады женщин-печатников, или, как их называ-

ли, трафаретчиц. Вот их имена: Бодрова Анна, Воробьева Анна, Ген Инна, Ивайловская Александра, Киссель Вава, Канник Мери, Ракова Зоя, Руденко Сима, Соколова Люся, Томиловская Татьяна, Юдалевич Фаина. Скромная их работа была не менее важной и ценной, чем сам труд художников, не менее напряженной и, пожалуй, даже более сложной. Целыми днями до глубокого вечера простаивали они около своих длинных столов, при особо срочном задании прихватывались и ночные часы, а их неутомимые и проворные руки двигались четко, ритмично и, казалось, не знали устали. Им предъявлялось два требования: тиражировать номера агитплакатов быстро, давать хорошее качество печати. Результаты этого коллективного труда — и творческого, и технического — были нужны народу, о чем свидетельствовали то внимание и успех, которыми пользовались боевые иркутские Агитокна, сотнями экземпляров расходившиеся по городу, области и за ее пределами.

На углу улиц Карла Маркса и Литвинова, в большой специальной витрине, регулярно выставлялись оригиналы Агитокон. И по количеству зрителей, и по степени их заинтересованности авторы эскизов узнавали о том, «попали они в цель, или нет?» Почти всегда «попадание» было бесспорным, и популярность иркутских Агитокон оставалась неизменной. Этому успеху способствовали и острые, злободневные стихи иркутских поэтов, например, Анатолия Ольхона или Кон-

моей спиной боксер Градополов — мои удары станут сильнее?»

При всех обстоятельствах Уткин высоко держал голову, предпочитая нападение обороне.

Помню, как после выступления в клубе на улице «Правды», почитатели Уткина обступили его. Протиснулся какой-то пижон.

— Какая кошка пробежала между вами и Жаровым? — спросил он. И, не дождавшись ответа, принялся чернить Жарова.

Я еще никогда не видал таким гневным Иосифа Уткина. Он растолкал толпу, измерил типа презрительным взглядом. Уткин был сильный, но надо знать, где применять свою силу. Он быстро опомнился, только побледнел и на носу ярче выступили веснушки. Злость улетучилась. «Товарищи, разрешите, я прочитаю Жарова?» — сказал он. Уткин читал превосходно, как и всегда. Провокатор с жалким видом прятался за спинами собравшихся.

Иосиф Павлович, думается мне, в этом выступлении собрал всю свою любовь и преданность другу.

Да, правда, была размолвка — шумная, с треском, но они никогда не расходились в главном и до конца остались верны знамени, которому присягали.

«Бьет в кремлевском знамени алая струя, — это кровь! И в пламени капля есть моя», — писал Уткин в стихотворении «Зима».

Подростком он ушел воевать на смену старшему брату, расстрелянному белыми. Красноармейцы выбрали его (именно выбрали) комиссаром. «Он звал к благородству и сам был благороден, — отмечал М. Светлов, — славил любовь и сам был полон любви, призывал к мужеству и был необыкновенно мужественный».

...Я уже говорил: Иосиф Павлович был очень музыкален. Мне запомнился один вечер. С нами сидела мать Иосифа — Раиса Абрамовна. За толстыми стеклами очков тихой радостью светились мудрые, добрые, незрячие ее глаза. Кто хоть раз ее видел — не забудет. Она сердцем и душой вобрала в себя мятежный дух сибирских каторжан, среди которых жила, и этот воин-

ственный, революционный дух она привила своим детям. В годы первой мировой войны она организовала солдатских жен и вместе с ними требовала прекратить кровопролитие. Во время гражданской войны старшего сына белые казнили, дочь Павла также трагически погибла. Много горя было у нее, но духом она все та же — сильная и голову держала высоко.

Иосиф играл для нас. Он брал в руки то банджио, то гитару. Пел и приплясывал. В гибкой поступи, в стуке кастаньет, в песне и музыке Уткин показывал Испанию, которая раньше мне только снилась.

Он взглянул на мать и резко прервал игру.

— Мама, вы устали? — заботливо спросил он.

— Ну, что ты, Иосиф, — ответила она. — Пожалуйста, продолжай.

Мне рассказывали, что знаменитый Сеговия, слушая как играет Иосиф Павлович, с восхищением воскликнул: «Артист!»

Я не был рядом с ним на фронтах Великой Отечественной войны, но мне рассказывали о нем товарищи, воевавшие с ним плечом к плечу. В последнем бою, когда Уткин повел дрогнувшее было подразделение, его тяжело ранили. В. Гроссман в своих военных дневниках сделал беглую запись о том, что усталая, давно не знавшая сна женщина-врач рассказала ему, как вел себя на операционном столе Уткин: «Я его режу, а он стихи мне читает».

После госпиталя, в зловещей черной кожаной варежке на однопалой теперь правой руке, Уткин вернулся в Москву, но не пошел в опустевший свой дом: мать с младшей сестрой Августой нашли убежище в Средней Азии. Без многих людей, мне кажется, Уткин мог жить долго, не унывая, но не без матери!.. Чтобы он ни делал, мысли его постоянно были с нею. Он закончил новое стихотворение о Москве, в которую вернулся. И здесь помог ему прекрасный образ матери. «Немало в столице я прожил, и трудно тебя мне узнать! Ты стала красивей и строже, как смерть повидавшая мать. В глазах

стантина Седых, дополнявшие и обогащавшие содержание агитплакатов.

Так с конца сентября 1941 года и до Дня Победы 1945 года напряженно и бесперебойно работала эта скромная, но по-своему боевая точка — иркутская мастерская Агитокон ТАСС. Ко Дню Победы ее коллектив выпустил свое последнее праздничное Агитокно, и мастерская была расформирована, а оригиналы эскизов Агитокон в количестве около шестисот, созданных за пять военных лет, переданы на хранение в фонды Иркутского областного художественного музея.

Двадцать пять лет прошло с той знаменательной даты, а ветераны иркутской Агитокон продолжают вспоминать ее. С глубоким уважением вспоминают они художественного руководителя мастерской и обаятельного человека — Давида Петровича Штеренберга. С любовью вспоминают они и свой самозабвенный, свой страстный труд в те грозные и суровые годы Великой Отечественной войны, ибо в сердца их стучал пепел сожженных городов и сел, замученных граждан и погибших на полях сражений солдат, ибо сами они тоже были своеобразными бойцами, ибо и у них есть свой, хоть и крошечный, вклад в огромное дело победы над врагом всего человечества.

Пусть не меркнет большое солнце, пусть всегда будет мир на земле.

еще отзвуки боли, суровый излом у бровей; но веет и силой и волей»...

Мы встретились с ним в гостинице «Москва». Многие писатели тогда здесь жили подолгу: тепло тут было.

— Смотрите, — сунул он мне надушенную глянцевую бумагу. — Какая-то дама принесла стишки своего сына: «По Арбату, по Арбату бежит конница Мюрата». Сама, наверное, сочинила.

Уткин разволновался:

— Подлость! — и скомкал листок. Сел к столу, постукивая левой рукой. Вскакивал навстречу заходившим к нему соседям: кто-то просил щепотку соли, кто — кусок хлеба...

Много и сердечно говорил о Светлове. Ничего нет у него вымученного, все естественно. Вслушивайтесь в его интонациии — музыка! Тончайшие, нежные мелодии.

Маяковского, как и прежде в «Комсомольской правде» называл Владимиром Необходимычем и все хотел представить себе, каким был бы он сейчас.

Вошел Асеев.

Жонглировал рифмами. Все в нем улыбалось. Но вдруг резко изменился, потемнев лицом. Суровый мимолетный взгляд на однопалую руку Уткина, потом на мою госпитальную палочку.

Не простившись, ушел. Грусть рождает только грусть. Иосиф Павлович открыл пишущую машинку. Уже был заложен маленький квадратик бумаги.

— Последние строчки; позвольте, я допишу, — сказал он.

Стихотворение назвал «Михайловское». Прочитал эпиграф Пушкина:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

В строе стиха Уткина слышались пушкинские интонации. Он читал с приглушенной грустью:

На столе пирог и кружка.
За окном метель метет.
Тихо русская старушка
Песню Пушкину поет.

Сколько раз уж песню эту
Довелось ему слыхать!
Почему ж лица поэта
За ладонью не видать?

Почему глаза он прячет:
Или очи режет свет?
Почему, как мальчик, плачет,
Песню слушая, поэт?

Сколько раз я уже сам читал стихотворение — Иосиф Павлович подарил мне машинописный текст. И постоянно видел за образом няни Пушкина мать Иосифа Павловича.

— Маму видел во сне: нащупывала стены, пробираясь в мою комнату, чтобы разбудить меня... — сказал он.

Явился Юрий Корольков. Я уезжал с ним на фронт. Мы прощались у подъезда. Кружилась поземка. Сухой, жесткий снег бил в лицо.

Сквозь пелену туманов, в косых полосах дождей и в дыму пожарищ, во сне и наяву я долго, очень долго еще видел Уткина таким, как у гостиницы «Москва».

...Уткина тяготило пребывание в тылу. С большим трудом он добился разрешения отправиться в действующую армию.

В Москве между тем готовился к печати его сборник. И осенью 1944-го вышла эта миниатюрная, уместившаяся в ладони книжечка, любовно изданная, — «О родине, о

дружбе, о любви». Возникла необходимость его приезда в Москву. Командование дало ему разрешение. Уткин улетел.

Над столицей и подмосковьем — метель. В Щелкове летчик Шевченко повел «дуглас» на посадку. И — катастрофа.

«Если я не вернусь, дорогая, это значит — дубы нелюдимые надо мною грустят в тишине... А такую разлуку с любимой, ты простишь вместе с родиной мне».

В этот день я прибыл с фронта. Узнав о трагедии, я уже не пошел к себе домой, а побежал в Лаврушенский, к Уткиным. Все у них там было удивительно мирно. Раиса Абрамовна сидела на кушетке в кабинете Иосифа наклонившись к радиоприемнику, а ее дочери собирали остатки пайка на стол. Впервые в жизни я не мог никому из них прямо посмотреть в глаза. «Стою в смятенье у порога и не могу переступить. Что мне сказать им... ради бога! С чего начать... Как приступить? Нелегкий труд и в самом деле сказать им: вы осиротели». Подумать только: это написал сам И. Уткин.

— Наши войска, — сказала Раиса Абрамовна, повернувшись ко мне,— приближаются к логову варга. Значит, скоро все кончится, и Иосиф вернется домой.

В руках у меня стихотворение «Сестра» — последние строчки, написанные Уткиным. Стихотворение это было найдено в его полевой сумке.

Нет, не забудется, я знаю —
Ее векам не превозмочь —
Солдатских мук сестра родная,
Любимая Россия дочь!

Как мы не позабудем боя,
Когда под подсвисты свинца
Сестра склонилась над тобою
Всей дружбой юного лица.

Когда из этой самой фляги,
Поднявшись из последних сил,
Боец глотками свежей влаги
Свое спасенье жадно пил.

Не позабудут не по росту
Шинели серой, синих глаз.
На жизнь и смерть глядящих просто.
Солдатских мук родные сестры,
Россия не забудет вас!

1944

...Уже после похорон я опять пришел в дом к Уткиным. Раиса Абрамовна радостно мне сообщила:

— От Иосифа телеграмма.

Мне стало страшно: я понял, что мать Иосифа до сих пор ничего еще не знает. Она позвала дочь.

— Гутя, прочти еще раз телеграмму.

Августа Павловна держит на весу руку, и я должен вместе со слепой ее матерью поверить, что у нее в этой вибрирующей руке телеграмма. В глазах Гути слезы, но она бодро читает: «Обнимаю мою милую старушку. Иосиф».

Я выхожу из подъезда. Все перед глазами кажется нереальным. Пусть старушка доживает свой век в полном неведении? Сердцем, мне кажется, она чувствует. Вспоминается ее лицо, тревожное, озабоченное.

Я стоял во дворе.

— Где живет Уткин?

Я, наконец, очнулся. Солдат, спросивший меня, где квартира Уткина, указал рукой на сверкающую черным лаком машину «Оппель-адмирал», объяснял мне:

— Я пригнал ее из Бухареста. Трофейная. Командование фронтом послало в подарок Уткину.

Как теперь заходить в дом осиротевших женщин и смотреть в глаза,

пусть даже незрячие, Раисы Абрамовны? Сердце упрямо вело меня знакомой дорогой к ним.

Когда предполагалась по радио передача об Уткине, Августа Павловна умышленно что-то поломала в приемнике.

— Ты что-нибудь понимаешь в радио? — спрашивала меня Раиса Абрамовна. Ей казалось, что оборвалась единственная связь с ее Иосифом. «Но ничем себя не выдаст скорбь согбенная твоя. Разве только вздохом слабым облегчит немного грудь, — все, в чем Родина могла бы мать солдата упрекнуть». И это предвидел сам Иосиф! Эти строчки из стихотворения «Мать солдата», которое Иосиф Павлович оставил у меня дома.

Уже кончилась война, вражеские знамена грудой лежали на Красной площади, у ног победителей; кто остался жив, уже встретился со своим домом, с семьей, с любимой... А Иосиф... «У него особое задание, — говаривала мне его мать. — От него зависит прочность мира, добытого такой дорогой ценой. Он ездил по Европе, пересек океан. Вот видишь, дипломатом стал. Точно так же, как и поэт Тютчев...

...На такую должность ведь не всякого назначают. Иосифу оказана честь»...

Мы, близкие ее, собрались в ее доме. Ее минуты уже были сочтены. Я видел, как она, лежа на кушетке, в кабинете Иосифа тихо отходила. Но не было еще ни криков, ни слез... Если бы это не было на моих глазах, а кто-нибудь другой рассказал, я, наверное, не поверил: Раиса Абрамовна поднялась со спутанными от долгого лежания волосами. В длинной белой ночной рубахе, пошла по направлению окна с вытянутой вперед рукой к роялю, на котором стоял в рамке портрет Иосифа. Она остановилась, схватила портрет, прижала к сердцу, к губам и потом бережно поставила фотографию на место.

И это было все.

Ее, «седенькую героиню», похоронили на Новодевичьем в одной могиле с сыном...

ЛАРИСА ЛАНКИНА

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК

Очерк

Впервые Константина Дмитриевича Янковского я встретила в редакции молодежной газеты. Он принес статью о защите тайги. Разговорился с сотрудником, но это была не обычная беседа с автором, и вскоре вокруг собрались почти все, кто был в это время в редакции.

К нам, пришел человек из другого мира, где обитают далекие для нас существа: медведи, лисы, соболи, птицы, деревья. Он называл их, как эвенки — «маленькие люди». Он знал их душу, понимал и защищал их, и они его понимали.

Он рассказывал тогда, как застрелил браконьер лебедя, говорил о привычках и обычаях таежника.

Рассказывал замечательно. Принято считать, что таежники люди молчаливые и замкнутые. Но наш новый знакомый был иным. Он интересовался буквально всем: от политики до книжных новинок, от садоводства до любительского кино. Он и выглядел необычно. Широкая седоватая борода скрывала лицо. На лице сияли глаза. Светлые с необыкновенным выражением доверчивости, какая бывает только у очень маленьких детей, удивленно вбирающих окружающий мир. Но здесь, не скрываясь за тем, что мы называем выдержкой и спокойствием, смотрела на нас сама душа этого человека. Он говорил, и мы видели, как ее ранят мучительные мысли, как она то сжимается от боли, то всколыхнется и засвистит от радости. Мы чувствовали неловкость и смущение, словно пользовались незаслуженным откровением.

Он покорил нас. Он обнажил перед нами Природу. Будто в своих руках, в своих глазах держал ее сердце и поселил в нас тревогу за нее. Вот что он сделал с нами. За два часа. Тут же полредакции засобиралось к нему в гости, в таежное село Шиткино, на краю нашей области. Кое-кто мечтал присоединиться к его экспедиции на место падения Тунгусского метеорита. Началась переписка, сборы и, хотя экспедиция отправилась без нас, мы подружились, и смогли заглянуть в прошлое, и попытались понять, что лежит за тем, что так очаровало нас и так притягивает к нему людей.

Константин Дмитриевич был участником первой экспедиции к Тунгусу, организованной Куликом в 30-х годах. Он нанялся к Кулику простым рабочим, для чего выдержал настоящий конкурс. Тунгусское чудо и слава Кулика привлекали массу желающих присоединиться к знаменитому ученому, а может, и к великому открытию. Видно, Кулик разглядел в молодом Янковском верного человека и не ошибся. Когда экспедиция потерпела неудачу и оказалась в бедственном положении, рядом с Куликом не оказалось никого, кроме Янковского.

Пришлось Константину Дмитриевичу остаться одному в выжженной тайге на весьма продолжительное время почти без продуктов.

Однажды, бродя в поисках дичи, он обнаружил необычной формы и структуры каменное тело. Возможно, это был пришелец из космоса, связанный с загадкой гигантского взрыва. Он сфотографировал камень, приметил к нему дорогу, но вернуться сюда с Куликом не удалось. Через много лет уже после войны Константин Дмитриевич вновь побывал в тех местах. Но теперь здесь поднялась тайга еще более могучая, чем прежде, и он не нашел дорогу к своему открытию. С тех пор он буквально заболел Чургимским камнем. А вдруг это ключ к отгадке тунгусского чуда? Он сообщил об этом в Академию наук. Экспедиции томских молодых ученых пытались найти камень. Сам он бессоными ночами пытался восстановить в памяти ту тропу. Искал ее со своей детской экспедицией, с которой собирались мы. Напрасно.

Экспедиция Кулика и эта несколько романтическая история с Чур-

гимским камнем лежит где-то в начале биографии Янковского. Она кажется любопытной, потому что именно своей романтичностью похожа на самого Константина Дмитриевича. Все, что он делает и как делает— несколько необычно. Во всем есть некоторая приподнятость, свойственная первооткрывателям. И то, что утраченная находка непрерывно его мучает, что помнит о ней долгие годы, окрашивает его жизнь в непривычно яркий беспокойный цвет. Он был бы счастлив, если бы кто-нибудь при его жизни вновь обнаружил Чургимский камень.

Его жизнь — бесконечная дорога в буквальном смысле этого слова. Он охотовед и среди первых осваивал советский Север, учитывая запасы пушнины и заселяя леса соболем и бобрами. Янковский один из тех, кому страна обязана восстановлением соболя. Сразу после революции соболь оказался почти ископаемым животным. Сейчас его в нашей тайге столько, сколько было 300 лет назад, т. е. до широкого промысла.

Освоение Севера—целая эпоха в истории нашего государства, а мы о ней почти ничего не знаем. Молодежь зачитывается Джеком Лондоном, а живые герои Севера ходят рядом. Их жизненный опыт уникален. Никогда уж не потащат в тайгу баржи волоком. Вертолеты за час сделают то, на что уходили месяцы. И сейчас трудно. Север есть Север. Но это иные трудности. Взять хотя бы первые встречи с аборигенами. Сейчас народы Севера учатся в университетах. Тогда же русский, появляясь, например, у чукчей, нес им и Советскую власть, и культуру, и новые человеческие взаимоотношения. От него, от его личных качеств могли зависеть взаимоотношения с целыми народностями.

И вот вилась таежная дорога Янковского по охотничьим угодьям, через кочевые стойбища, пока не перерезала ее война. И войну прошел. И снова вернулся в свою тайгу.

Не могу и не ставлю целью подробно рассказывать об этой части его жизни, наполненной приключениями и опасностями, и непрерывной работой. Меня интересует ,каким он вышел из тайги, интересует его характер, я бы сказала, идеальный. Этот тип людей нередок среди геологов, биологов, лесников, одним словом, людей накрепко связанных с природой. Вот, например, Виктор Владимирович Тимофеев, друг Янковского... «Мой таежный брат», — говорит о нем Константин Дмитриевич, — человек иного склада души и темперамента. Но и он, и Янковский, и другие, живущие в тесном общении с природой, лишены житейской мелочности, приспособленчества, их не давит быт, они не дорожат удобствами и покоем.

Они жили в таких условиях, где человек, как на войне, духовно обнажен. Шелуха, что в обыденности прикрывает достоинства и пороки слетает. И душевная красота и подлость выступают отчетливо.

И в своих требованиях к жизни ,к людям они исходят из идеального положения вещей, без всяких скидок ,не признавая пятен, которые, как говорят, есть и на солнце. Их называют чудаками. И в этих чудаках обнажается ценнейшая порода человеческого.

Теперь Константин Дмитриевич меньше бывает в тайге, стар и здоровье не то — почти все время он проводит с детьми.

Он главный следопыт в обществе бирюсинских юных краеведов. Еще лет шесть назад они собрались вокруг Анны Васильевны Мельниковой, заведующей детской библиотекой. Как-то пригласили Янковского «на огонек» послушать его таежные рассказы. Тогда он и увлек их идеей похода к «Тунгусу». Труднейшая была экспедиция. Ребятишки выдержали ее. А их старший друг — для них и академия природы, и школа воспитания характера. Много с тех пор исколесил он дорог с ними и Анной Васильевной, человеком большой культуры с нежным и мужественным характером. Побывали в Тофаларии, на Илиме, где жил Радищев. Не так давно Константин Дмитриевич писал: «...прошли по маршруту Бирюсинск—Тайшет (трасса мужества), с остановками в Саянской, Лукашевичах, Джебь, Курагино — могила Александра Кошурникова, снова Курагино — Минусинск — Красноярское море — Дивногорск — Красноярск. Маршрут юбилейный и, пожалуй, последний. Не поехал бы, здоровье не то, но не мог допустить, чтобы с новым набором «орлят» Анна отправилась одна. Новички в походе — это такое... По возвращении «вышибло из седла», но потихоньку очухиваюсь». Грустное письмо.

Константин Дмитриевич часто приговаривает: «Фартовый я, так пусть мой фарт топает с этими славными ребятишками».

Сам по себе Янковский, каким мы видим его, еще не полностью Янковский. Чтобы представить его во всей значительности, надо увидеть и узнать тех ребят, тех людей, которые унесли в себе мысль или чувство Янковского или просто впечатление от встречи с ним. Об ином говорят: он в своих книгах. Читайте их и узнаете его. Янковский же — в людях, которых он коснулся, и они оттого стали чут-чуть лучше и умнее сердцем. Наверное, это не менее ценно, чем оставить людям научные труды.

В своем селе Константин Дмитриевич пользуется особым уважением. Он, так сказать, первый гражданин села. В сельсовете, в клубе к нему прислушиваются. Но настоящий его круг — дети и очень молодые люди. Это его собеседники и слушатели. У них общие затеи и интересы. Не ради лишь выполнения общественного долга снимает он с краеведами фильм о походе, а потом показывает в библиотеке деревенским ребятам. Ему самому это интересно, ему нужны такие же увлеченные этой затеей. Нужно общество отзывчивых, непосредственных людей, как он сам. Это общество — дети.

Помню, мы шли из Шиткинского клуба с торжественного пионерского сбора, где его вместе с другими уважаемыми старожилами села приняли в почетные пионеры. Взрослые люди в таких случаях обычно смущаются. Для них это игра, важность ее понимают, подчиняются ей, им льстит оказанное им уважение. Но все-таки это игра, которая кончается, как только они покидают ребят.

Меня поразила серьезность, с какой Константин Дмитриевич отнес-

ся к этому акту. Кто-то пошутил насчет его бороды и пионерского галстука. Он не принял, как обычно, шутку. У него произошло важное событие: дети, пионеры, признали его своим. Дома его поздравила и поцеловала жена.

Когда мне приходится бывать в Тайшетском районе, я обязательно заезжаю в Шиткино. Это веселое большое село на севере области. Там несколько десятков лет живет Янковский с женой Еленой Владимировной.

Удивительный у них дом. Впрочем, жилище всегда похоже на хозяина. Никаких ценностей, кроме книг да пишущей машинки, здесь нет. Мебель самая простая и необходимая. Это не от аскетизма, просто деньги, которых никогда не было много, шли на книги и отдавались тому, кто в них нуждался.

В доме и во дворе многочисленные хозяйственные приспособления. Почтовый ящик со звонком, часы с электролампой, с лампочкой же звонок у входной двери. Это для жены, которая плохо слышит. Бесчисленные лампы и светильники. Похоже, будто в доме подросток, увлекающийся техникой.

От всего этого и радушия хозяев здесь уютно, здесь отдыхаешь. Но это не отдых в обычном смысле слова, отступают шум и суета, отдавая место размышлениям.

Словно живые, молчаливо наблюдают тебя с книжных полок философы и путешественники. И ты отдаешь себя на их суд и на суд хозяину, человеку, мудрому и доброму, и сам судишь себя.

Этот дом почти не бывает без гостей, без приезжих. Так повелось с тех пор, как присылают к Константину Дмитриевичу из Москвы, из Иркутска на практику студентов-охотоведов. Приезжали по одному, по двое, девушки и парни. Константин Дмитриевич селит их у себя. Если студент беден, одевает его, снабжает всем необходимым. Практикант становится членом семьи. Его знакомят с порядками в доме, показывают шкатулку в буфете: «Здесь деньги, когда понадобятся, бери не спрашивая». Константин Дмитриевич так поступал не от прекраснодушия, а вполне сознательно. Он говорит: «Я должен научить этих ребят быту».

Отношения с ребятами складывались самые родственные. Они жили у него месяцами, отправлялись на самостоятельную работу, а своего таежного отца не забывали. То явятся в гости уже с собственными детьми, а нет, так пишут письма. Таежные сыновья и дочери, называют их Янковские.

Эти студенты, большей частью давно оторвавшиеся от родительской семьи, находят здесь не только кров и уют. Они оказываются в доме, где царит дух любви. Обычно так бывает: прошла молодость — и любовь миновала, потонула в быте, заросла привычками. А здесь иное. Побудешь около этих уже старых людей, и таким теплом повеет на тебя, любовью, пониманием, ласковостью отношений, что, кажется, старость им не страшна. Страшна только смерть, потому что это разлука. А жизнь

не баловала их и сейчас не балует. Была и нужда, и болезни и всякое горе.

Стоит их дом недалеко от реки весной в белом облаке яблоневого цвета. Сад, как и каждая вещь в доме, имеет свою историю. Когда высаживал Константин Дмитриевич яблони, посмеивались соседи: «Пустяками занимаетесь, не приживется. Север». А яблони прижились, уже на крыше раскинули ветви. Деревенские ребятишки разнесли черенки по селу, насадили в своих дворах, и похорошело Шиткино.

Осенью, когда прихватит яблочки морозом, их разрешается рвать ребятам. Те, что на вершине, достаются птицам.

Янковский мечтает перенести яблоню в тайгу. Чтобы север стал чуть теплее и приветливее.

Над крышей у флюгера вьется зеленая ленточка. Непонятно, но ты уж ничему не удивляешься, привык, что здесь все не совсем так, как у других людей, в других семьях. Будто сдернуто с жизни покрывало обыденности.

Так вот ленточка. Начитались мальчишки Гайдара и как-то вечером накололи дров старому солдату, инвалиду. А что дальше — не знают. Тогда включился Константин Дмитриевич. Теперь с утра гайдаровский пост следит за сигналом: взовьется зеленая ленточка, командир спешит к Главному Советнику обсудить новое задание.

Главный Советник полон мальчишеского азарта, ребятам не угнаться за его фантазией в военной игре, которую затеяли за околицей. С укреплениями, с картами, со всеми атрибутами военных действий. Играючи учатся ребята выправке, четкости, собранности движений и действий. Они подтянутее и стройнее сделались за несколько дней.

В пылу боя кто-то вообразил себя известным героем и хотел грудью броситься на амбразуру дзота.

— Не надо, — остановил Константин Дмитриевич. — Не надо этого делать. Вы славные ребята и, если понадобится, родину защитите. Но не надо играть в подвиг. — И ребята поняли, что за этими словами стоит нечто такое, чего они никогда не видели и не знали, чего даже и в книжках не прочтешь. Поняли, что игра дело серьезное.

Иногда соберутся около него и просто смотрят, как собак кормит. Послужили в тайге, теперь состарились. Но из благодарности к остроушкам не расстался с ними хозяин, кормит и лечит их, и ухаживает. Потом присядет, ребята обступят, ждут какую-нибудь историю, которых у Дмитрича полным-полно. Потом товарищам в школе перескажут, от себя приврут, навыдумывают.

Истории эти — рассказы бывалого человека, осваивавшего север. Они о мужестве, о слабости, о воспитании характера, о любви даже. В них живая летопись.

Многие из своих устных рассказов о людях, о животных Константин Дмитриевич записал. Они не похожи на произведения писателей-профессионалов, это свидетельства очевидца, в них жизнь, не преображен-

ная вымыслом. Ночи напролет сидит Янковский за машинкой, торопясь запечатлеть то, что осталось в памяти.

Янковский писатель, хотя у него нет ни одной книги. Вернее, они есть, написаны, но не изданы, не лежат на прилавках магазинов, и читатель не знает даже его имени. Тем не менее он писатель, необычный со своим совершенно особенным миром. Это мир дикой, неподчиненной природы — и человека в ней.

По-своему Янковский решает проблему взаимоотношений человека и природы, человека и зверя. Они находятся в согласии, человек включен в круговорот, который совершает природа. Конфликт начинается тогда, когда человек выпадает из общей гармонии, когда рвет многочисленные связи с природой-матерью, природой-кормилицей.

Здесь по вульгарной логике следовало бы ожидать героя его рассказов — человека, далекого от культуры. Ничего подобного. Герой Янковского — человек возвышенных чувств, интеллигентный, тонкий, с широким кругозором, человек во всей полноте ощутивший радость быть человеком. И в то же время всем своим существом и образом жизни связанный с природой. Его можно было бы назвать сентиментальным, если бы он не проявлял постоянную готовность защитить друзей, не считаясь с любой опасностью.

Он без оружия идет навстречу взрослому медведю («Малыш»). На мужество — мужеством, но сцена первой встречи с Малышом, чьи следы он перед тем наблюдал у своего зимовья, отдавала бы дежурным приключенчеством, но не завораживала бы, не была бы такой наполненной, если бы не читалось в ней торжество человека, сильного своей связью с природой, с лесом.

Человек разрушается и обедняется, когда эти связи рвутся. В рассказе «На насте» есть сцена, как охотник, не устояв перед легкой добычей, прицеливается в беззащитного зверя. «Перед нами на широко расставленных ногах, глубоко провалившись в снег, стояла лосиха. Края обломленного наста были в крови. Она смотрела на нас и дрожала мелкой дрожью. Вздрагивала ее большая мягкая губа. Мне показалось, что я вижу, как слезы скатываются по ее щекам.

Дядя Вася был совсем близко от лося. Провалившись в снег чуть не по пояс, он поднимал к плечу ружье. Все это я увидел в какое-то мгновение, не помня себя, дико крикнул: «Не смей!» — щелкнул затвор, я вскинул ружье, он оглянулся и увидел ружье, нацеленное на него».

С этим пусть несовершившимся выстрелом что-то неуловимо меняется в облике бывалого охотника. Герой спас лосиху и не обращает больше внимания на дядю Васю, но мы-то ощущаем присутствие этого человека. От него пахнуло холодом, бездушием, он поглощен страстью убивать, подчинять. В лес вошел охотник, вышел из лесу хищник...

Животный мир очеловечен и опоэтизирован Янковским. Не могу забыть лебедей на озере. Это чудесная сказка о любви, о красоте, о бла-

городстве живущего на земле. Но это не сказка, это жизнь, подмеченная тонким вдумчивым наблюдателем.

Это не рецензия на рассказы Янковского. Нужно только сказать, что нашей литературе сильно не хватает героя, который живет в его рассказах.

В своих рассказах сам Константин Дмитриевич. Без них не понять и не оценить Янковского. Он писатель по своему душевному складу, по образу мышления.

Сейчас это его основная деятельность. Он работает по ночам до изнурения и в одиночестве. Его первые критики — жена, Елена Владимировна, и сестра, Мария Дмитриевна, иногда и единственные читатели.

Рассказы и статьи Янковского разбросаны в областных и районных газетах, в журналах «Охота», в сборниках издательства «Мысль». В таком виде они словно речка, расплесканная по каплям, которые не могут никак соединиться в широкий светлый поток — в книгу. Это была бы чудесная книга для детей и взрослых, она будила бы в людях любовь ко всему живому.

Константин Дмитриевич часто болеет. Дают знать раны и годы. Но каждую зиму он отправляется в тайгу. Он давно уж не охотится. Просто ему надо побыть там, как птице надо летать в небе. Там ждут «маленькие люди». Ждет хозяин — старый медведь, с которым однажды все лето ходил к одному ручью. Ждет лось, зимняя птица, ждут насторожившиеся под снегом деревья.

Иногда он возвращается из тайги не помолодевшим и свежим, как обычно, а больным и расстроенным:

— Мертвая тайга. Зверь уходит. Птица уходит. Рыбу вывели.

Значит, набрел на следы браконьеров.

И он, как может, борется за свою тайгу. Главное его оружие — любовь к ней, которую он стремится передать молодым. Вот пишет он:

«Я пока не ходил в тайгу. После Октября хочу пойти. Хоть поживу в тайге, посижу у таежного огонька. Погуляю. Из меня уж теперь не охотник. Жалко зверюшек. В тайге нынче голод. Может, удастся хоть немного подкормить их. Трудно будет затаскивать в тайгу продукты и кой-какое снаряжение. Здоровье не то, что было, и силы не те.

Мои комсомолочки, Тома и Нина (студентки), собираются на каникулы со мной: хоть помогут затащить сухари да денек-другой поживем в тайге. А я боюсь их брать. Нынче могут быть шатуны. Медведи голодают, а голодный медведь в берлогу не ложится.

Бирюса шугует, но сильных морозов еще нет. Скорей бы похолодало. Тогда по ледяному мосту через реку пройти можно будет...»

Он всегда с нею, с тайгой. Он сам живет просто и хорошо, как растет дерево, как светит солнце. Он любит это все, как может любить лишь человек.



К. Д. ЯНКОВСКИЙ

В ГУСТЫЕ СУМЕРКИ

Мы стояли друг против друга. Я это знал, но не видел их. Они же, наверное, разглядывали меня и, возможно, «прихватывали на нос», хотя не было даже слабой тяги воздуха. Только несколько метров приручьевой тайги отделяло нас. Сегодня я решил поближе познакомиться с этой маленькой медвежьей семьей, чье присутствие я больше чувствовал, чем слышал, вот уже несколько вечеров.

Улавливая шорох осторожных шагов, я знал — они приближаются. Остановившись у кромки приручьевой тайги, замирали. Время шло. Я сидел, они стояли. Вода закипала. Заваривал чай, отодвигал котелок подальше от огня, вновь садился на бревешко-скамейку и не уходил в избушку. Ждал, что вот-вот увижу эту удивительно ненавязчивую и спокойную семью. Но она не выходила из своего укрытия. Вчера, когда уже совсем стемнело и от костра осталась только грудка малиново-красных угольков, вполголоса сказал: «Вот уже и костер прогорел, а вы все стоите. А я жду вас». В ответ — ни звука. Подождал еще немного, поднялся, снял с тагана котелок, и в этот момент послышался громкий шорох, вслед за этим — звук шлепка, короткий ребячий визг и бархатистый голос мамаши. Секунда тишины и удаляющиеся шаги.

И вот сегодня, накануне выхода из тайги, пошел к тому месту, где обычно останавливались они. Пошел «знакомиться». Своим «визитом» я хотел сказать, что совсем не остерегаюсь их, жду и с их стороны «шагов сближения». Хотел было встать на их излюбленное место, но не решился. Все же дело имею с медведицей-матерью, и невозможно предугадать, как она отнесется к моему вторжению на ее участок.

Пришел пораньше их. А когда вновь густые сумерки надвинулись на

тайгу, пришли и они. На этот раз отчетливо слышал их осторожные шаги и даже глухой, как бы предостерегающий голос матери и ответное сопение малыша. Они остановились на прежнем месте. Так и стояли друг против друга, и никто не решался сделать несколько шагов вперед. Я молчал. Там, в густых зарослях пихтача, почти в темноте, тоже молчали.

И тут до моего слуха донеслась музыка. Я даже расслышал мелодию. Это был один из симфонических концертов Чайковского. Чудные звуки в этот момент, в этой необычной обстановке как-то особо глубоко воспринимались мной. И совершенно неожиданно мелькнула мысль: «Ведь каждый вечер, возвращаясь из таежного захода, я включал «Гауя», висевшую в избушке у изголовья постели. и не музыка ли привлекала сюда таежную маму с ребятенком». Вспомнились медведи-«музыканты», извлекавшие громкие дребезжащие звуки из расщепленного дерева и с явным интересом прислушивавшиеся к ним. Одного такого «музыканта» я наблюдал в береговой тайге Нижней Тунгуски. Обхватив одной лапой ствол сломанного дерева, другой оттягивал и отпускал расщепленную древесину, которая издавала далеко не музыкальное звучание. Но медведь, и не маленький, был доволен и, слушая, забавно наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Эта же таежная мама, по-видимому, обладала более изысканным слухом и, не умея «играть» сама, приходила сюда послушать классическую музыку. Так и стояли мы, слушая Чайковского.

Совсем стемнело. Повернувшись, медленно, очень медленно пошел я к избушке. Ни медведица, ни медвежонок, на мое счастье, не тронулись с места.

Войдя в избушку, оставил двери открытыми. Подойдя к приемнику, повернул регулятор громкости до отказа. Концерт продолжался, и он был последним моим приветом музыкальной таежной семье.

В ЗИМОВЬЕ НА ОРЕНДЫКАНЕ

Дверь упорно не хотела открываться. Как будто кто-то держал ее изнутри.

После многокилометрового похода по тайге, по глубокому снегу на лыжах так хотелось отдохнуть. Поесть, попить чай в этой маленькой таежной избушке, до которой добрался с таким большим трудом.

И вот изволь, кто-то или что-то не пускает. Вспомнился давно слышанный рассказ о том, как медведь вместо берлоги облюбовал охотничью избушку, решив переспать в ней длинную сибирскую зиму.

Подумалось и о том, что может быть старый охотник, поселившийся в этой избушке с осени, почувствовал себя плохо и, не успев выйти на свежий воздух, упал около двери и своим телом прижал ее.

Но что бы ни было, а двери я отворить не мог. Раздумывать долго

было некогда. Я изрядно вспотел, и теперь меня начал пробирать крепкий морозец. Сделав безуспешную попытку рассмотреть что-либо через маленькое оконце-бойницу, решил изо всех сил навалиться на дверь, а если и на этот раз она не поддастся моим усилиям, то тогда взять топор, с которым в таежных заходах никогда не расстаюсь.

И дверь чуточку приоткрылась. Прислушался. Тихо. Еще раз нажал и дверь отворилась ровно настолько, чтобы я мог боком пролезть в избушку. Там было темно. Не сходя с места, чиркнул спичку. При слабом свете успел только разглядеть кучу чего-то, лежащего у самой двери, на полу. Но это не было ни медведем, ни человеком.

Я глянул. Под ногами что-то зашуршало. Обойдя кучу, добрался до нар. Хотел сесть и не мог. На нарах тоже лежало что-то.

Тогда я опять зажег спичку, вторую, третью. Сено, самое настоящее таежное сено было на полу и на нарах. Все стало понятным. Это сено накосили и принесли сюда не обычные косцы, а маленькие таежные зверьки пищухи, или как их еще называют — сеноставки.

Безобидные зверьки. в серовато-охристой шубке, с большими полукруглыми ушками, затратили так много труда, заготавливая его.

Срезанную острыми резцами траву они раскладывали на камни, уступы скал, сухие колодины. Работали весело, дружно, с мелодичными пересвистами.

Трава подсыхала медленно. Зверьки старательно переворачивали ее — «ворошили». И не раз, когда часть сена была готова к уборке, раздавался предостерегающий, тревожный свист. Он слышался с разных мест. Тревога! Приближается дождь. И тогда поднималась суматоха, но в сплошной авральной работе зверьки не мешали друг другу.

Схватив в рот пучки еще не просохшей травы, они стремительно бежали под камни, в глубокие расщелины скал, бежали туда, где можно было бы сохранить от дождя свой труд.

Ни на один листочек, ни на одну травинку не упала капля дождя.

Уплывала туча, напоив землю, умыв тайгу. Под горячей лаской солнца обсохли камни, скалы, колодины. И вновь раздавался мелодичный свист, но уже не было в нем тревожных ноток.

Как из-под земли, а оно так и было, снова появлялись зверьки. С пучками травы бежали к нагретым солнцем камням и вновь расстилали ее для просушки. Несомненно, бывали дни, когда несколько раз приходилось пищухам носить траву то в укрытие, то обратно в «сушилку». А каждый вечер, еще до росы, зверьки уносили в укрытие непросохшую траву и каждое утро, если не предвиделось ненастья, надо было вытаскивать, досушивать ее.

По мере готовности сена — зеленого, душистого — зверьки перетаскивали его по маленькому пучочку в эту, почему-то ими облюбованную и, как видно, давно не посещаемую охотниками избушку.

И вот большой запас для большой колонии пищух сделан. Не залили его осенние дожди, не разбросал штормовой ветер, не завалил

его снег. На всю зимушку запасен корм. Обычно сеноставки хранят свое сено в глубоких расщелинах скал, в каменных пещерках, под большими камнями. Реже хранят в таежных условиях, в маленьких, искусно сложенных копешках высотой около полуметра.

Я не обидел этих славных зверьков. Не выбросил из избушки ни одной травинки. Сделав метелку, только подмел в зимовье.

НЕДАЛЕКО ОТ РУЧЬЯ

В тайге звериные дети всегда под присмотром.

Два веселых медвежонка ходили, сопровождаемые мамашей, крупной бурой медведицей, и она учила их всем премудростям таежной жизни.

Они, конечно, слушались ее. У мамы была тяжелая лапа, и им не хотелось получать увесистые шлепки, после которых сразу снижалась жизнерадостность, свойственная их ребячьему возрасту.

Все шло своим чередом, пока медвежья семья не спустилась в темный таежный распадок, где, наверное, хотела провести день: отдохнуть, поспать, спрятавшись от палящих лучей солнца, а под вечер выйти на кромку большой гари, где уже поспела очень вкусная малина.

В глубине распадка журчал ручей, переливая с камешка на камешек прозрачные холодные струи. К этому ручью и направилась медведица по хорошо протоптанной обитателями тайги тропе. Но медведица не дошла до ручья — он был совсем уже близко, как что-то крепко обхватило грудь, шею и остановило. Она рвнулась вперед, но цинковый трос крепко держал...

Вот первый листок книги тайги, который удалось без особого труда прочитать. Я сел на обгрызанный пенек, снял ружье, рюкзак, закурил и задумался. Было ясно, что кто-то насторожил петлю и не на лося-сохатого, а именно на медведя. Поставлена она была не более, как дней десять—двенадцать тому назад — за две недели до этого я проходил по распадку и тогда петли не было.

Яростно рвалась медведица на свободу. Три пихты и ель сгрызла она, расщепав их своими могучими зубами. Вырыла глубокие ямы. Каталась по траве, билась о землю. Но крепко держала петля. А ревела, наверное, так, что, как говорят таежники, «шишки с деревьев валились».

Глядя на щепу, оставшиеся пеньки от деревьев, на ямы, вырванную траву и мох, подумал я, что не сдобровать бы в это время тому, кто насторожил петлю. В приступе страшной ярости, увидев человека, медведица могла бы оборвать петлю, и тогда.. опять бы сказали: «Медведь напал на человека», — и опять обвинили бы зверя, а не человека, который постоять бы за себя даже не сумел, так как он, насторожив-

ший петлю, был из тех, про кого говорят: «Блудлив, как кошка, труслив, как заяц». Да, обвинили бы медведицу — мать двоих детей...

Подошел я к петле, вернее к тому, что от нее осталось... Медведице, в конце концов, удалось «перемолоть», перетереть цинкач, и она ушла, оставив клочки шерсти, прилипшие к тросу. Это все было яснее ясного. Но ведь она освободилась от петли не сразу?.. На это ей потребовалось немало времени, о чем красноречиво говорила «работа» по расчистке площадки. Голод зверю не так страшен. Много дней зверь, как и человек, может обходиться без пищи. А вот без воды... Без воды не проживет и трех дней. А медведица слышала журчание ручья, поднявшись на задние лапы, могла даже видеть его сквозь кусты...

Кто же поил ее?

В эти дни дождей не было, а росы, даже если и было где ей выпасть на этом оголенном участке, мало... И тут я обратил внимание на новую, свежую тропу, протоpенную напрямки к ручью. Внимательно приглядевшись, определил, что протоптали эту тропу медвежата. В русле ручья, между больших камней, скапливалась вода. Вот к этой «ванне» и ходили медвежата, пили, купались в ней, а потом бежали к маме, и она, облизывая их, утоляла жажду... И, может быть, она очень часто подзывала детей, когда они убегали к ручью, и медвежата, только что успев залезть в воду, возвращались к ней... Они ведь были послушными ребятишками...

МАЛЫШ

Я остановился. Впереди на полузаросшей таежной тропе за сломанной ветром осиной стоял медведь. Давно ждал я этой встречи. И все же она была неожиданной, как мне показалось, для нас обоих. Метров двенадцать разделяло нас. Медведь разглядывал меня, я — его. Зверь был настроен дружелюбно. Я не чувствовал ни малейшего желания убивать его.

— Вот, Малыш, мы и встретились, — громко сказал я. Громадина слегка наклонила набок голову и ответила глухим рокочущим басом.

Несколько лет тому назад следы жизнедеятельности Малыша, как назвал я его, стали встречаться на этом участке. Сперва это были разрытые муравейники, развороченные валежины-колодины, копанины, и на выброшенной земле ясно отпечатывались его лапы. Он был совсем молодым, но недоверчивым и осторожным. Встречи со мной избегал.

От избушки до ручья, где я брал воду, метров около ста пятидесяти. Я ходил к ручью обычно утром и вечером, а иногда и в темноте. Начал и он приходить туда, только в другое время. Мне не верилось, что зверь может напасть на меня. Он мог это сделать в любой мой заход в тайгу. Ведь я часто не брал с собой своих остроухих друзей. Они мешали мне при наблюдениях за обитателями тайги.

Случилось так, что я несколько месяцев не был на своем участке, а, придя осенью, обнаружил «капитальный ремонт» моей избушки. Крыша была разворочена, бревна стен сдвинуты, потолок провалился. Железная печка, которую с таким трудом я притащил сюда, сплющена, трубы смяты.

— Эх, Малыш, Малыш! Что ты натворил! — Но что заставило его так поступить? Мелькнула догадка. Остатки от большого костра на месте, где я раскладывал маленький огонек, сломанная рябина, что росла под окном, срубленные молодые деревца около избушки. Исчезли некоторые предметы домашнего обихода и часть продуктов из лабаза. Вот что раздражило Малыша: «чужой» запах людей, пришедших сюда. Нехороших людей, не таежников. Может, они стреляли по нему...

На следующий год я покинул старое зимовье. Построил другое. Вскоре медведь начал наведываться и туда. Только теперь он подходил к воде с другой стороны ручья, где был пологий спуск, и громадные следы его отпечатывались на бархатистом песке... У нового зимовья он дров мне не заготавливал, но исправно ворочал колодины и рыл «погреба».

Как-то осенью я пошел навестить избушку. Не доходя до своего участка, повстречал группу женщин и двух мужчин. Запыхавшись, перебивая друг друга, они рассказывали, как их погнал «огромадный» медведь. Как вышел он на тропинку, как встал на задние лапы и заревел!!!

— Спервоначалу мы остолбенели, а потом как припустили, — скороговоркой проговорила одна из женщин, боязливо поглядывая вокруг.

— Счастье ваше, что не погнался зверь за вами. Никогда не надо убегать. Разве от него убежишь, если он вздумал бы догнать? Лучше всего стоять на месте. Зверь сам уйдет. Да вы еще могли устроить такой джаз-оркестр, что медведь не только бы ушел, а убежал бы от вас, — сказал я, показывая на ведра. — И для чего вы пошли на этот участок?

— Думали, что ягод там навалом.

— Тайга в этом участке темная, и места совсем не ягодные. — Я рассказал, как пройти на хорошие ягодники.

— А вы туда, к медведю, идете?

— Да.

— Не ходите. Убьет он вас.

— Не думаю. Ведь это, наверное, мой Малыш. Мой егерь.

— Кто!?

Мы расстались. Я стоял до тех пор, пока они не скрылись из виду. На всякий случай зарядил ружье. Малыш, обозленный вторжением незнакомых людей, мог пойти следом за ними. Надо быть готовым ко всему.

Когда убедился, что медведь и не думает их преследовать, пошел в глубь тайги.

...И вот мы стоим друг против друга.

— Малыш, егерь мой. Вот мы и встретились!

Он чуть приподнялся на задних лапах и стал еще более громадным. Я стоял неподвижно. На левом плече — ружье.

В полном молчании и неподвижности прошло, может быть, полминуты, а может, и меньше, но стоять дольше стало просто невыносимо. Надо идти прямо на него, решил я.

— Малыш, сворачивай! — Я медленно пошел по тропинке.

«Свернет или не свернет?»

Медведь опустился на лапы и заворчал. Заворчал тихо, внушительно, но без злобы. Метров шесть теперь отделяло нас.

— Малыш, сворачивай, — повторил я, готовый в любой момент сорвать с плеча ружье. И Малыш свернул. Покачивая огромной головой, поглядывая на меня маленькими глазками, он отошел в чащу метров на пять и, став боком ко мне, не спускал с меня глаз.

Ровным шагом прошел мимо него, и когда он был уже сзади, очень захотелось оглянуться. Но не разрешил себе этого. Чувствовал, что он смотрит мне вслед. Было все-таки жутко.

Это была наша первая встреча.

ЛЕБЕДИ ТАЕЖНОГО ОЗЕРА

Если вы захотите узнать, где это произошло, то отыщите на карте 60 градусов, 55 минут северной широты и 101 градус, 50 минут восточной долготы. В точке пересечения есть озеро, через которое протекает речка Кимчу. Там много лет назад жили мои пернатые друзья, гордые красавцы лебеди.

Сказочно красиво это таежное озеро в окружении сопок, поросших могучими деревьями. И сопки и деревья отражались в нем, как в громадном зеркале. Во все стороны от озера, на сотни километров простиралась тайга, и крохотными островками затерялись в ней маленькие населенные пункты. Самым ближним из них была фактория Ванавара, три домика на берегу Подкаменной Тунгуски.

Более девяноста километров труднопроходимой тропы отделяло меня от этой фактории. Жил я в то время в избушке, приютившейся у подножья горы Стойковича, в том месте, где проводили поиски посланца космоса — тунгусского дива.

Весной, во время пролета, на большом Южном Болоте скапливалась масса гусей, уток, куликов. Здесь они отдыхали, кормились и набирались сил для далекого путешествия к местам гнездовий, еще дальше на север, в тундру, на берег студеного моря. Часть из них оставалась и здесь. Это те, кто тут родились и выросли. Отсюда осенью они улетали на зимовку в теплые страны. Улетали, чтобы вернуться весной.

Не тревожимые никем, птицы чувствовали себя спокойно и то и дело пролетали над избушкой.

Рано утром одного дня я увидел несколько лебедей. Они показались из-за горы и низко пролетели надо мной. Деловито переговариваясь друг с другом трубными гортанными голосами, вытянув длинные шеи, они как будто разглядывали меня. Покружившись, полетели на север и вскоре скрылись за ближними сопками. По голосам я узнал их. Это были лебеди-кликуны. По-видимому, за свой мелодичный голос, в отличие от других, они и названы так.

Вечером вернулись только два лебедя. Они опять покружились над избушкой. Не иначе их заинтересовало необычное, вернее редкое в этих местах сооружение. А может быть, их любопытство возбудил я, так как в те времена не так-то часто можно было увидеть человека в глухой тайге.

Лебеди поселились на сказочном озере и перестали навещать меня. Им было веселее. Их было двое, я же совсем одинок. Мой рабочий маршрут как раз захватывал район этого озера, и почти каждый день была возможность наведываться к ним. Стало входить в привычку отдыхать на мыске, вдававшемся в озеро, разговаривать с ними, бросая в воду маленькие кусочки сухарей. Называл я их просто — «мои хорошие».

Скоро они привыкли к моим посещениям и подплывали ко мне совсем близко. Не шипели, не кричали и грозно не поднимали свои могучие крылья, как это было вначале. Лебеди даже начали встречать меня. Стоило подойти к берегу и, не видя их, сказать громко: «Мои хорошие», — как сразу из-за излучины появлялись они, быстро плыли, а, подплыв, грациозно изгибали свои белоснежные шеи и посвистывали тихо-тихо.

Потом пришло время, когда стал подплывать только один самец. Это было вполне понятно. Наступил период гнездования. Наконец, я увидел троих. Мать плыла впереди, отец сзади, а такой несуразный в сравнении с ними лебеденок плыл в середине. Они подплыли ко мне, доверчиво показывая свою радость, своего единственного птенца.

После этой встречи я не видел их недели две. Работа задержала меня вдали от озера. И вот вечером, на закате солнца, услыхал их зов. Трубные звуки приближались. Выбежав из избушки, увидел своих лебедей. Они кружились над избой. Они звали меня. Я понял: произошла трагедия.

Не шел, а бежал я к этому, теперь страшному озеру, повинуясь их зову. Прибежал на мысок. Лебеди были тут же. Плавали, низко вытягивая шеи и, подплыв совсем близко ко мне, тихо, жалобно вскрикивали гортанно-трубными голосами. Птенца, этого несуразного малыша, нигде не было.

Я прожил на этом озере несколько дней. Я убил ее, эту акулу пресных вод. Шука была громадной...

В вечер этого памятного для меня дня я сидел на ступеньках избы. Солнце закатывалось, и как в тот раз зазвучали трубные голоса. В этих звуках было так много тоски, что мне стало невыносимо тяжело.

Медленно взмахивая крыльями, лебеди кружились надо мной и плакали, плакали.

Понял я их и на этот раз. Они прощались со мной, прощались с этими местами, где потеряли своего лебеденка... Совсем низко пронеслись в последний раз громадные птицы, розовые в лучах заходящего солнца. Я стоял с поднятой рукой, отдавая им прощальный салют. Они покидали эти места, возможно, навсегда. «Все могло быть иначе, — мелькнула мысль. —Мог ведь предотвратить эту трагедию, и тогда долгие, долгие годы, с весны до осени, были бы мои хорошие белоснежные птицы украшением таежного озера».

А сейчас я махал им вслед и чувствовал себя еще более одиноким.

АЛЬМАНАХ «АНГАРА» № 3

Составитель А. М. Шастин.
Редактор Л. А. Васильева.
Худ. редактор А. И. Аносов.
Техн. редактор А. В. Пономарева.
Корректор В. М. Ермакова.

Сдано в набор 13 мая 1970 г. Подписано к печати 4 августа 1970 г.
Печ. л. 7,90 Уч.-изд. 9,34 Бумага тип. № 1, ф. 70×90 1/16.
Тираж 5000 экз. Заказ 1775 НЕ 06628 Цена 40 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.

Типография «Восточно-Сибирской правды», г. Иркутск, ул. Советская, 109.

Писательская биография Виктора Киселева начиналась с поэзии, которой он не изменяет и до сих пор. Но широкому кругу читателей он известен как автор приключенческих повестей, а также книг для малышей.

Последние годы писатель работал над крупным прозаическим произведением — романом «Большая вода». В романе повествуется о героическом труде сплавщиков леса на европейском севере нашей страны, о том, как мужали характеры советских людей в годы Великой Отечественной войны. Через всю книгу проходит тема любви, уважительного и доброжелательного отношения человека к человеку.

Сейчас роман «Большая вода» готовится к печати Восточно-Сибирским книжным издательством.

40 коп.

